

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал
Харьковского отделения Союза писателей России

Том 22-23
2014

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ганичев В.Н. — председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

Котькало С.И. — сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

Скворцов К.В. — секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>
тел./факс +38 (057) 700-40-25

Римма КАТАЕВА

«Влюбляюсь заново я в небо Харькова...»

Я не знаю, что такое «скука».
Никакая грешная разлука
В ритм случайный не даёт мне впасть.
Ни одно никчемное безделье,
Вплоть до выживания в постели,
Не имеет надо мною власть.

На неё не стоит тратить время.
Скукотища вяло дышит, вредно.
Я-то каждым часом дорожу.
В выдуманном самодельном рае
Я читаю, шью, вяжу, стираю,
Сад свой разноцветный сторожу.

Ну, а вдруг свобода выпадает,
Я услышу зов высокой дали
И ступлю на старый свой «Порог».
Нет, отнюдь не жалкой одиночкой —
Свет зажгу среди лукавой ночи
И схвачусь так жадно за перо!

Алёше

Я люблю с тобой работать.
Выправляю слово в слово.
Каждой буквой, каждой нотой —
Вспарываю
ленность слога.

Ну, а ты — такой спокойный,
И в ответах за просчёты
Ищешь выход — меркнут сбои,
Точки, строчки
бьются чётко.

Только мне порою сложно
Меж шатании вправо-влево,
Полусидя-полулёжа —
Оставаться
Королевой!..

Отоспалась. Отлежалась.
К чёрту — ересь, к чёрту — жалость.
Из себя изъяла жало
Без нытья, без всяких жалоб.

Акварели, звуки, строчки, —
Всё во мне разыграло разом.
И очищенный мой разум
С радостью встречает дочка.

ОСЕНЬ

Ну, куда ж девалось бабье лето?
У природы вдруг такое зло:
Мокрый снег, и дождь, и мало света,
Что ни день — меня грызёт озноб.

Как неожиданно, странно зарябила
Желтизна на каждом фонаре!..
И мои родные сентябрины,
Сморщенные, стынут во дворе.

Ни просвета в сумрачных сюрпризах...
Мысли, чувства, рифмы — всё в разброд.
Только верю, с давним оптимизмом —
Бабье лето всё-таки придёт!

Когда ты есть — я крепче, я красивее.
Как будто наливаюсь звонкой силою.
Варю борщи, пельмени лихо стряпаю,
Дурное всё с себя упорно стряхиваю.

ГОЛОС

До чего же я люблю этот голос!
Просто искренен, сдержан просто, —
Он легко исполняет соло
На обрывках житейской прозы.

Весь обветренный, да без спешки,
Нарождает слова отважно.
Баритоновый тембр безгрешный
Не допустит веки фальши.

Мы с ним дружим вполне достойно,
Лишь порою провалов горсти...

.....
Засыпаю. И сплю спокойно —
Нынче слышал этот голос.

* * *

Хорош собою. Элегантен.
Без всяких «слишком» и «чуть-чуть».
И ни мгновения не тратит
На что-нибудь и как-нибудь.

Он молчалив, но острословен —
Везде — на людях и в дому.
Израненная чья-то совесть
За помощью бежит к нему.

Всё пишет, пишет, словно дышит —
Историей своей страны.
И окна чинит. Чинит крыши.
(Да только б не было войны...)

Нежданно заглянул однажды
В мой перекошенный ковчег...
... Как хорошо и просто важно —
Такой вот рядом человек!

* * *

Чей-то зонт и чья-то роза...
Чьи-то белые халаты...
Дождь стучит, скрипят морозы...
То — рассветы, то — закаты...
Всё обычно, всё привычно.
Вдруг — удар в мою обитель —
Весь в рифмованных страничках,
К слову кличет
вдохновитель.

* * *

Что ни день — он спешит да спешит.
Ты спешишь где-то за океаном.
Я спешу, правда, лёжа в тиши.
Мир спешит с непонятным туманом.

А вослед — судьбы вершитель:
Почему вы все спешите?!

* * *

Держу я чудо-палочку —
Загадочная твердь...
В ходу уж нет развалочки,
Спокоен каждый нерв.

А ствол переливается.
Четыре свет-гнезда...
Лукавою упрямицей
Горит моя звезда.

Хочу присесть на лавочку,
Глазами — в небосвод.
Но нет, царица-палочка
Опять зовёт в поход!

ТКАЧИХА

Я — заядлая ткачиха.
В комнате, где очень тихо,
Всё стучу, стучу.
По батисту белой ткани
Каждый штрих душой чеканя,
Я строчу, строчу.

Что-то доброе случится —
Дактиль улыбнётся чисто
И зажжёт строку.
Если нитка надорвётся —
Призову на помощь солнце,
И всё тку, и тку.

Дмитрий РАКОТИН
ХАРЬКОВГРАД

Под ясным солнцем пыльный шлях.
Ветра играют в эстафету.
И в небесах, и на полях
От облаков спасенья нету.

У речки воды, как елей.
Приволье маленького пляжа.
Фигуры рослых тополей.
Они тут сторожи пейзажа.

День этот с грустью не знаком.
Их далека покуда стычка.
Вон, как прирученный дракон,
Легит шальная электричка.

За ней подсолнухи в полях
Бегут во всю по белу свету.
Не обрывайся, пыльный шлях,
Веди нас к Пушкину и Фету.

ТАМ...

С. Ю. Потимкову

1

Там – звучание лир,
Голубая весна.
Назови этот мир –
Ну, хоть областью сна.

Этот мир – как лото,
Как езда с ветерком,
Там не знает никто,
Кто такой Потимков.

Там – не «рыбой об лёд»,
Не обманчивый свет,
Там есть вечный полёт,
А падения нет.

Там – и Конго, и Чад,
Абиссиния там.
И тамтамы звучат:
Там – там – там,
Там – там – там...

2

Интеллигентский трёп
За столиком в кафе.
А в рощах – тайны троп,
Лип аутодафе.

Тут ложечкой рука
Помешивает чай.
А там журчит река
И синий молочай.

Здесь музыка, попса,
И в двух шагах метро.
А в сельских небесах –
Безмолвно и светло.

Тут – яркий потолок,
Там – тени в борозде...
Поэт – почти что Бог –
Он всюду и везде...

* * *

Во время впаян, словно в лёд,
Я в веке непростом,
Мне современность не даёт
Подумать о Толстом...
А, может, тьма накрыла свет
И всё идёт врасстык,
И атмосферы больше нет,
Рождающей Толстых?

БЫЛОЕ БЕЗ ДУМ

Рабочий класс в который раз
Глушил спиртное без одышки.
Рабочий класс – особый класс...
А мне б – уйти, зарыться в книжки!

А тут – повкалывай кайлом,
В пыли, в жару крой с матом кровлю.
А мне б – за письменным столом
Затеять рифменную ловлю!..

О, не пустел у нас стакан!
Закуска сыпалась, как в лузу...
А мне – накинуть бы аркан
На пролетающую Музу!

И я пылал, как снег в январь.
И градом пот сверкал на теле.
И на меня, как на фонарь,
Стихи безудержно летели...

ХАРЬКОВГРАД

Огни, трамвайные круги,
Веселых парков тень.
Я в этот город, как в стихи,
Ныряю целый день.

Он самобранкой расписной
Милей любых даров,
И щедро делится со мной
Буханками домов.

Его униженность и спесь,
И смесь – мне так видна,
Я этот город вышил весь,
До городского дна.

Пусть он в туманах и во мгле,
И снег, что седина,
Но в темной мартовской земле
Свершений семена.

Его душа не взаперти,
Не в клетке серых льдин!
А все высокие пути
Смыкаются в один.

* * *

А время песенки поет,
Шумит людским шершавым морем,
То лесом каменным встает,
То асфальтированным полем.

Промчался юности трамвай,
Нахлынул молодости ветер.
Старик Державин, ая-яй,
Чего ж меня ты не заметил?!

Антоніна ТИМЧЕНКО

«А про тебе написати не можу...»

Ковельські яблучка,
ковельська ковила.
Скоринка тріскається,
біжить сік.
Дорога дорогого,
навіщо мене вела, –
щоб залишила те, що люблю, –
чи не навік?

Ось воно – дерево,
ось, яко щем, багряне,
ось воно, серце,
і ось він, розхитаний тин.
Ось вони, люди –
старі та малі хуторяни,
ось вони, рани Христові,
і ось, недовірлива, ти.

Їдеш, і ковельська бабця
каже тобі про ябка
напівпопольську.
Коні, пасіки,
поли одежі
напівпопольську
і поле.

Яблуко-ябло,
ти прорости в мені
соком своїм помежовим,
почужинним,
покордонним, поневдомним,
щоби знала,
як воно там,
де не Україна,

де старе не плаче,
а мале не пиячить.
І щоб таки повернулася
і була тут,
бачила злигодні
і дороги невігідні
і жили рвала,
і жила тільки тут,
і умирала.

А про тебе написати не можу –
холод якийсь у пальцях.
Хоч на Морозенка не схожий,
ти із небувалих бувальців.

Стежу за чужими жигтями,
різних набираю історій.
Все я відчуваю, все тямлю,
всі мені кімнати просторі,
все воно у нормі й нічого,
вже й не переймаюся дуже.
В серці обживається, капцями човгає
байдужість.

Скотилася торба
до діда із горбом,
а в тій торбі
не хліб-паляниця,
а доля-п'яниця,
і горя горнятко,
і жменя нестатку,
самотності слоїк
і смерть із косою.

А торба продовжує далі котитись.
Мовчу і дивуюся, як його жити.

Люди в метро
із цебрами з помідорами,
з дітками хворими
їдуть, ідуть,
гомонять, мовчать.
А час, як поїзд,
швидкості набере –
і скине,
набере –
і скине,
потім зупиниться,
хтось вийде-зайде,
і далі, далі...
Думка прокотиться, як горошинка:
коли ж то моя зупинка?

Уривки слів про тіні у степу,
про сутінки, що наставати сміють,
про саламандру, наче Соломію,
гнучку. Про силу споришевих пут.

Застуджений цвіркун. Камінний сон.
Кармічний шлях. Кармінний подих тиші.
Оторопіння на землі і вище.
Швидкої смерті степове ласо.

Із пагорба вдивляється бабак
у виярок, туманом перекреслений,
і думає, чи справдиться мольба,
чи буде так, що всі колись воскреснуть.

Грізно і певно, зсунувши брови, як вождь
соціалізму, скаже товариш мудрий,
що все не так і що «все мы здесь не для того»...
Чай закипає, країно, доброе утро!

Кидаю в чашку заварку і рафінад
і наливаю окріп із якоюсь злістю –
начебто мшуся зараз, що кожен з нас
щиро хотів добра і тепер втомився.
Бо на усяке діло є свій кордон,
бо на усяке тіло – усякі сили.
Господи Боже, дай зупинитись до
того, як чорним зробиться біле.

Незадоволення росте,
росте незгода дратівлива,
слова сіріють, наче лівер,
на скибах зачерствілих тем.

Еквілібристико сварок,
давай примножувати відчай,
встановлюємо вічний звичай –
ночей важкий безсонний рок.

І з галасу моїх образ
і з чорноти твоєї рани
постане раптом тихий ранок,
який помолиться за нас.

Ти, як і учора,
забув, після себе залишив
закладинку чорну, півзірки із неба,
записку про інше.

Записку дитина розгладила, розмалювала.
Півзірки начистила я до коштовного блиску,
хоча з половини і марно чекати зиску.
І тільки закладинка чорна лежить, як лежала.

Найголовніше моє, найцінніше
хтось витягає з глибокої ніші.
Мацає, жмакає, слинить сторінку,
щось нісенітне собі просторікує.

Ну ж бо, віддай, бо покличу міліцію!
Швидше вертаю своє на полицю,
тільки воно уже не сокровенне...
Більше нічого немає у мене.

Шерех почувся легкий за дверима:
йде повтішати всевидяча рима.

У неї в хаті, як у церкві –
біленькі стіни у квітках.
Ітиме повз, поставить цебра
і привітається Лука.

Увечері з млина брестиме
Марко – й поділиться своїм,
і білий хліб вона з-за тину
йому простягне, щоб поїв.

Іванові пришиє гудзик,
Матвію кошика сплете...
домашні справи – се і те,
пшоно, квасоля, кукурудза.

Волосся сиве, як ляне.
В її руках проста хустина,
хустина, як покрова, дивна –
візьміть під неї і мене!

Думаю, що буде їсти моя сім'я,
думаю про стрекозу і про муравья,
думаю про сусідчиного кота,
думаю, що стаю якась запроста.

Думаю про беззаконня, нахабність, бруд,
думаю, десь, може, краще люди живуть,
та думаю, втім, що де б душа не жила,
насправді одного їй треба – Господня тепла.

Я думаю ще – півліниво, і тупо, і дико, –
чи вже нічия, чи кохаю іще чоловіка:
немає тонкої коштовності слова і дотику,
немає святої жертвовності, разом-роботи.
Я думаю часом: лише тарілки та образи,
і ті забуваю байдуже практично одразу.

А прагнеться пристрасті, громоподібної й – тихої,
«люблю» щоби вистрілило, щоб не подачка, а – дихання,
аби незворотно, протяго, щоб сонце у серце.
Дай бачити, Боже: а може, я маю усе це.

Я думаю, син мій подумує: матінка дивна –
намислить – поплаче, намислить іще – звеселиться.
Я дивна, синочку: безхитрісна темна людина,
а маю молитву – летить над тобою, як птиця.

ПІСЕНЬКА ПРО БАНАЛЬНУ РИМУ

Як завжди, ляжу о другій –
немає у мене друга,
аби почитати вірші
о цій порі опівнічній.

І правда, як нелогічно:
розбурхати чоловіка,
аби, як банальна рима,
сонно кліпав очима.

Дитина – вона мала ще,
хоча і дуже уважна,
і зовсім навіть можливо,
вона б мене зрозуміла.

Та ні, відкладаю вірші,
йду спати, вже пізно, друга.
А мо, почитає тиша,
якщо вона має друга.

Раз у раз перевіряє двері
(все життя), ключа залізного торкаючись.
До дитини не пускає жодних Мері
Поппінс, відсилаючи подалі.
Тато і дочка, як слон і мишка,
туляться, чекаючи неясно:
він – що страх допустить передишку,
а вона – що раптом буде казка.
І надходить спокій, щоким гладить,
як мала, проводить по щетині.
Й чоловік римує – так доладно,
як слова не йшли іще донині.
Для малої молоко, собі півкави
і говорить, приколисує гаркаво.
І нема нічого довшого й певнішого,
аніж вечір: чоловік, дочка і вірші.

Писати знічев'я – ниточку загублю,
писати із радості – наче бракує нерву.
А ось печаль – геть її, не люблю –
пише й живе зі мною, ніби колега.
Вправний співавтор дає і думок і слів,
димний філософ, Сартр чи Шопенгауер.
...Зовсім не знаю, як білизну золить,
і козака любити, й гуляти гаєм.
Все історизми, софізми, арго, кліше,
екзистенційність, натурфілософія, ретро...

От і печаль тому,
що розум лише –
це набувне,
а життя не знаю зсередини.
Ось воно й радість – минуща, проста, не вся,
її, недолугу, й на слова не обернеш.
Справжня радість – у мого дідуся,
коли праонукові простягає цукерку.

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

МОИ ЗЕМЛЯКИ

(портреты без рамок)

АЛЕКСАНДРА

*Навсегда оставшейся с нами
А.П. Лесниковой.*

Мы всегда её любили. Мы гордились ею: ведь знаменитые чтецы почти все были мужчины – Яхонтов, Аксёнов, Журавлёв, Голубенцев, – только она у нас такая!

В дни стипендий мы весёлой полуголодной стайкой атаковали кассу родной филармонии, если на афишах значилось её имя. И не важно, что в программе: она всегда читала ТО, ЧТО НАДО!

Вообще-то я предпочитаю, чтобы стихи читал сам автор (если, конечно, он жив): мне часто кажется, что чтец фальшивит или навязывает автору своё прочтение. Но когда читает она, чувствуешь, что звучит та самая, единственная интонация, которая живёт в тебе – и слушаешь благодарно и растроганно.

После концерта мы толпились у выхода, ожидая её появления. Нет, мы не просили автографов – нам просто нравилось смотреть, как она проходит мимо, – круглолицая, чернобровая, с тяжёлыми тёмными волосами, гладко зачёсанными на прямой пробор. И мы гордились тем, что её, нашу любимицу, всегда ждёт на лестнице высокий полковник с букетом белых роз. Наверное, если бы в какой-то вечер его там не оказалось или он вдруг появился бы с другими цветами, каждая из нас восприняла бы это, как личное оскорбление.

Кончились студенческие годы, покатила другая, трудная, р а з н а я жизнь, и всё реже удавалось вырваться, чтоб устроить себе праздник. Но всё равно было важно сознавать, что рядом, параллельно с твоей неровной жизнью, существует она – живёт, выступает, читает созвучные тебе вещи. А потом рухнула и рассыпалась большая страна и кровавыми рубцами заболели нелепые границы – а вслед за ней рухнула и

рассыпалась, взорванная, наша милая старая филармония с её изумительной храмовой акустикой, доносившей в невидимых ладошках до самых последних рядов каждый звук, каждый вздох музыки или слова. И на месте, где прежде разливалось бельканто Александровича, где ронял прозрачные капли звуков Оборин и похожий на школьного учителя Рудольф Керер, с любопытством касаясь сухими пальцами клавиш, извлекал, как фокусник, чудесные, неожиданные ноты, образовалась фыркающая, воняющая бензином и выхлопными газами коммерческая автостоянка – знамение грядущего времени.

А с утратой постоянного пристанища, родного Дома, зыбким, нечётким пунктиром, пересыхающим ручейком стали её выступления: то здесь, то там – просто не уследить. Только изредка, встречая её имя в беглых сообщениях о каких-то вечерах и концертах, глаз тихонько радовался: красивое имя, красивый человек, светлые воспоминания...

И вот, в мешанине глобальных катаклизмов, вселенских катастроф, тусклых будней и личных неурядиц выпала вдруг передышка, омовение души – вечер памяти Бориса Чичибабина. Худую, сутулую тень поэта, детскую его улыбку и горячую, августовскую синеву глаз приютил неброский зальчик клуба пушкинистов при библиотеке Короленко. Большой, застенчивый портрет, радость короткой видеозаписи и живой голос – ЕГО прощальный привет...

Выступают друзья с воспоминаниями. Как странно: чем дальше уходит от нас большой человек, тем больше оказывается у него близких друзей, которых почему-то не было видно около него при жизни. А может, он и не подозревал об их существовании?

Шелестит шёпот соседок: «Обещала прийти...» – «Так она уже тут». Тут? Где? Ищешь глазами знакомую статную фигуру – не видно, нет. Не пришла, наверное.

Но вот объявляют: «Выступает заслуженная...» – и меня опутывает недоумение: как это? Это же не она! На сцену выходит, мягко улыбаясь, хрупкая, невысокая женщина с лёгкими, коротко остриженными, прямыми волосами. Серебристо-сиреневое платье, серебряная голова. Ошибка, что ли? Так ведь не может быть ошибки!

Осторожно, негромко – так, входя в реку, пробуешь воду ногой – начинаются стихи. Я на минуту закрываю глаза, чтобы всё встало на место. Её виолончельный

голос, её интонация – ЕГО интонация, словно читает он сам. Какое-то движение воздуха – будто общий вздох – пролетает по залу. Открываю глаза, оглядываюсь – и вижу, как светлеют, меняются лица.

... Ни колоска под собой не сминая,

Скачут лошадки Бориса и Глеба...

Ах, как хорошо! Спасибо, милая! Словно оmyвает незримый поток – очищает тебя, вливает в тебя высокую, ясную силу. И только одно желание: подольше бы это не кончалось!..

Когда она замолкает и публика начинает шевелиться и шептаться, возвращаясь из этого светлого далека, я подхожу к ней и сбивчиво пытаюсь сказать всё то, с чего начинала это повествование. И когда я напоминаю ей о том, как каждый вечер ждал её на лестнице полковник с букетом белых роз, она широко улыбается и легко произносит: «А он и сейчас здесь».

Я оборачиваюсь – позади меня, чуть в сторонке, стоит высокий седой человек, и глаза у него смеются.

Вот и всё.

Так о чём, собственно, этот рассказ? Как – о чём?

О Любви – о чём же ещё?

На этом бы и закончить – на этой высокой, светлой ноте. Но жизнь наша, такая удивительная, непредсказуемая, может к любой истории добавить неожиданный постскриптум.

Как и большинство знакомых, продолжая по старой, советской привычке оплачивать услуги проводного радио, я давно уже перестала его слушать: надоело вечное враньё, бесконечная грызня политиков, в борьбе за вожделенное кресло поливающих друг друга грязью, надоели безоглядные обещания с одним припевом – как в той песне: «Выбери меня, выбери меня – птицу счастья завтрашнего дня!..» Одним словом, я попросту выключила свой старый трёхпрограммник, думала – навсегда, но однажды позвонила давняя приятельница и обронила взволнованным голосом: «Включай скорее радио, Лесникова читает!» – и бросила трубку.

И я включила.

Господи, спасибо тебе, милое «Радио Слободжанщины»! Над всей этой грязью, отгеснив неумную, назойливую рекламу и саморекламу, – её голос, неповторимый, чистый, глубокий голос, оmyвающий, очищающий тебя, твоё дрянное существование сильной, упругой волной непобедимого благородства. С этого дня, встречаясь,

люди спрашивали друг друга: «Слушали? Вчера – слушали?» Это звучало как пароль, как тайный масонский пароль, – это роднило. И было хорошо.

Два раза в неделю, в назначенное время, мы бросали всё обыденное – кастрюли, стирку, рефераты: ЛЕСНИКОВА ЧИТАЕТ!

И было хорошо!

А потом зазвонил телефон и в голову ударило: слышала? Шуря Лесниковой больше нет!

И всё. И гудки...

... Пришедших с ней проститься не мог вместить зал старой оперы – люди шли и шли. А назавтра, в обычное время, по радио – чудом! – снова зазвучал её голос: Александра читала поэму Алексея Бинкевича «Реквием». Верите? Как Вольфганг Амадей Моцарт, Александра Лесникова перед смертью записала – предсказала? – реквием с е б е!

На девятый день Город, затаив дыхание, снова слушал Её, и вместе с ним слушал Свою Синьору её Верный Спутник. А на сороковой день ушёл вместе с ней – разве могло быть иначе? Ведь они никогда не разлучались...

Вы скажете, это мистика?

КАКИМ Я ЕГО ВИДЕЛА

Нет, я не физик, я гуманитарий, и не мне судить об Александре Яковлевиче Усикове как учёном, хотя, конечно, мне было известно, что он академик, лауреат Государственной премии и директор Института радиофизики и электроники АН УССР. Правда, узнала я об этом не сразу.

Встретилась мы с ним впервые в хирургическом отделении студенческой больницы. Время было обеденное (в больницах тогда ещё серьёзно кормили), наша палата была почти рядом со столовой, и поэтому к тому времени, когда основная масса ходячего люда потянулась обедать, я и мои сопалатницы уже «отстрелялись». Возвращаясь, я столкнулась в коридоре с человеком, резко отличавшемся от окружающих: иссиня-бледное лицо, твёрдая линия бескровных губ, утонувшие в тёмных глазницах глаза под чёрными

густыми бровями и шапка седых волос над бледным высоким лбом. Поравнявшись со мной, он шатнулся в сторону, бормоча извинения и уступая мне дорогу. Я что-то глупо сострила насчёт того, что он переоценивает мои габариты, и мы разминулись.

– Что это за великовозрастный студент у нас появился?
– поинтересовалась я в палате.

– Чудак какой-то, – откликнулась всеведущая доктор Маша. – Не то профессор, не то академик. Ему в обкомовскую предлагали, а он говорит, не надо мне никаких привилегий, давайте в студенческую. А у него дела – труба. Гемоглобин, говорят, сорок семь. Ирина Васильевна сама его будет оперировать, но сёстры говорят, вряд ли он вытянет.

Доктор Маша в отделении старожил и всё обо всех знает: она здесь уже третий месяц. Опять же, медик – свой брат, как говорится, – и сёстры иногда с ней откровенничают.

– Он тут в одиночке напротив – один в палате.

Бедный академик! Нас вот двенадцать – ходячие за лежачими ухаживают; а если кто уж совсем лежачий, после операции, так и с ложечки покормим, и судно подадим – чего уж там! А он совсем один...

Во дворе больницы произошло событие: дворняга Жучка привела щенят. Сенсацию, конечно, сообщила доктор Маша, и мы с ней договорились, что после обеда, когда разойдутся врачи, выберемся потихоньку через чёрный ход посмотреть на новорождённых. Правда, я ещё числилась не очень ходячей, но больно уж хотелось какой-то тёплой новизны.

Щенята были обворожительные: пузатенькие, крутолобые, ещё тупоносенькие, но уже зрячие – и пёстрые, словно сшитые из лоскутков. Жучка волновалась, тревожно заглядывала нам в глаза и с тайной гордостью косилась на своих красавцев.

Мы стали было придумывать им имена, как вдруг наше внимание привлекло неожиданное: из дверей чёрного хода шаткой, неверной походкой вышел Академик. Это само по себе было невероятно: уж он-то был не то что не очень ходячий, а очень не ходячий.

Нас, в нашем собачьем закутке, он, видно, не заметил и дальше повёл себя очень странно.

Близился праздник. Больница потихоньку охорашивалась: во дворе соорудили кокетливую

беседочку – «храм уединённого размышления», а посередине насадили в два ряда тоненькие молодые деревца, вбив для опоры рядом с каждым по колышку. Так вот, наш Академик стал ходить от деревца к деревцу и, останавливаясь около каждого, что-то колдовал.

Мы едва дотерпели, пока он закончил свой странный обход, и только за ним закрылась дверь чёрного хода, как мы уже были тут как тут. Знаете, что мы увидели?

День был ветреный. Ветер трепал кроны больших деревьев и раскачивал саженцы. Грубые, острые края колев ранили нежную кожицу молодых стволов. И везде, где только было можно, Академик заботливо проложил ватку или кусочек бинта.

– Вот Человек! – сказала доктор Маша.

Больше говорить было нечего.

Так – раз и навсегда – определилось наше отношение к нему.

Назавтра ему предстояла операция.

Операция прошла удачно – первой об этом доложила, конечно, доктор Маша. Озабоченно наморщив лоб, она глубококомысленно добавила:

– Знаешь, мы должны взять над ним шефство.

Мы докладывали ему, как ведут себя саженцы (пришлось сознаться, что мы тогда за ним подглядывали), как растут щенки. Однажды, стеснительно улыбаясь, он попросил меня:

– Вы тут, наверное, многих знаете... Видите ли, мне так много всего приносят, а тут, наверное, есть ребята иногородние, к которым никто не приходит – да и что принесёшь со стипендии... Вот если бы вы могли...

Я смогла. В соседней палате в гипсовой кровати лежал горбатый деревенский парнишка-первокурсник. Из дому приехать было некому, а завести друзей в городе он, видно, не успел. В «тихий час», когда посетителей не пускают и не принимают передач, я постучалась в третью палату: «Есть тут Витя? Кто тут Витя? Там на чёрный ход ребята пришли, вот – передали. Тётя Варя не приняла, прогнала, так они меня попросили».

Витя просиял, не веря своим ушам. Ещё бы – целая сумка вкусных продуктов, а главное – внимание! Всё-таки вспомнили о нём в группе!

«Диверсия» удалась, и ещё не раз щедрые гостинцы, которые приносили Александру Яковлевичу, переключивались под разными предлогами в другие палаты к студентам, которые, как известно, на

отсутствие аппетита никогда не жаловались. Осечки ни разу не случилось: недаром же военная кафедра нашего института сулила мне, военному переводчику, в случае войны шикарную должность ПНШ-2 стрелкового полка – то бишь помощника начальника штаба по разведке!

Посетители ликовали: аппетит у Александра Яковлевича отменный – значит, дело идёт на поправку!

Посещали его группами, часто и шумно: спорили, смеялись, что-то чертили прутиками на песке дорожек. Александр Яковлевич слушал, смотрел на своих «мальчиков», как юная мать на первенца, и счастливо улыбался. А когда они уходили, с упоением рассказывал, как они все талантливы, как интересно с ними работать, а я слушала и думала: до чего же им повезло! Если бы все молодые таланты так любовно пестовали – как бы щедро расцвела ими наша земля!

Однажды он дал мне журнал с какой-то статьёй Эйнштейна. Я растерялась – ну куда мне! Я ведь ничего не смыслю! «Ничего, ничего, – сказал Александр Яковлевич, – вы почитайте, почитайте». Я приступила к чтению с благоговейным ужасом. Не помню уже названия статьи, не помню самой проблемы, но помню, как, с трудом продираясь сквозь первые страницы, я вдруг ощутила их удивительную поэтичность – или это была мощная поэзия самой науки?

На следующий день, когда Александр Яковлевич спросил меня, прочла ли я статью, я собралась с духом и отчаянно пролепетала, что это – единственное, что я из неё почерпнула, что сумела из неё извлечь. Я понимала, что с этой минуты он должен меня окончательно презирать, но, к моему великому удивлению, он как будто остался доволен. «Именно это я и хотел, чтобы вы поняли», – сказал он и забрал у меня журнал.

Потом Александр Яковлевич выписался, а мы с доктором Машей остались надзирать за щенками и опекать завещанные нам саженцы.

Следующая наша встреча состоялась через год или два – точно не помню. Меня пригласили в ИРЭ преподавать английский группе ведущих теоретиков. Должна сознаться, что в первый раз шла на занятия не без робости: среди моих учеников одних академиков было трое – прямо ужас какой-то! А какой бдительный контроль на проходной!..

Но всё обернулось так славно, что оставалось только чувство недоумения и некоторой неловкости: почему за

то, что доставляет тебе радость, ты ещё и деньги получаешь?

Самым застенчивым учеником оказался Александр Яковлевич: его постоянно выдёргивали то на совещание, то на конференцию, то в командировку, и каждый раз он мучительно извинялся, что не успел выполнить домашнего задания. Вообще он был удивительно скромно и деликатен и к тому же обладал редкой способностью радоваться любому проблеску одарённости в других: каждый, даже малый, огонёчек он любовно раздувал и лелеял, и защищал от недоброго ветра.

О том, как он поддерживал опального поэта Бориса Алексеевича Чичибабина, лучше меня расскажет вдова поэта – я только помню, с какой гордостью он рассказывал о друге и как вдохновенно читал его стихи.

Потом занятия наши оборвались: я надолго уехала в Москву – но доброе тепло и взаимный интерес сохранялись светлым пунктиром нечастых звонков и открыток.

Однажды Александр Яковлевич пригласил меня на выставку работ своей жены, Дии Александровны, в Доме учёных. Выставка обернулась для меня неожиданным открытием: со стен глядели портреты с самого раннего детства памятных и дорогих мне людей, учеников и воспитанников моего отца, нянчивших меня чуть ли не со дня моего рождения. Оказалось, что со скульпторами И.В. Макогоном, И.Д. Левицким и М.Г. Лысенко, в прошлом воспитанниками одного из харьковских детдомов, а позже членами первой харьковской коммуны «Искра», Дию Александровну и Александра Яковлевича связывала давняя дружба. Вот так замкнулся круг, так мы заочно подружились с Дией Александровной.

Когда в Доме учёных Александра Яковлевича чествовали в день его восьмидесятилетия, я принесла ему невиданный букет – пучок тянь-шаньских эдельвейсов со склонов Ала-Тоо – то, чего нельзя купить, а можно только достичь или заслужить. Скромные, неброские – но с гордой высоты!

А когда умерла Дия Александровна, Александр Яковлевич задался целью издать книгу о ней, о её искусстве – книгу, которая послужила бы ей памятником. Издание стоило дорого: Александр Яковлевич продал свою машину и часть библиотеки – ему хотелось, чтобы книга выглядела достойно.

На последней странице он благодарит меня за помощь. Я не заслужила этой благодарности: помощь была чисто символической. Наверное, ему просто хотелось поделиться своим замыслом, проверить его на оселке чужой мысли, чужого восприятия.

Вот она, эта книга. На твёрдом белом переплёте – памятником – гибкий силуэт женщины, которой она посвящена. Но за каждой её страницей, за кажущейся разбросанностью, беспомощностью её композиции вырисовывается другой силуэт – силуэт её автора: широта и распахнутость его натуры, беззаветная любовь к красоте, природе, поэзии, к делу, которому он служил, к людям, которые были с ним рядом и стремились к тем же вершинам. Это был светлый человек, удивительный человек.

А какой он был учёный – об этом пусть рассказывают физики.

Стоял человек
и смотрел на дерево,
Следил
за пичугою
деловитой.
И я взглянула –
и сразу поверила,
Что сердце его
красоте открыто;
Что стоит ему
улыбнуться
застенчиво –
И ветка засохшая
снова распустится,
Перо упавшее
трепыхнётся птенчиком,
А птица сама
на ладони опустится,
Цвиринькнет нежно,
почистит перья...
Птицы -
они разбираются в этом:
Знают,
что он
рождён для доверия,
Что так был задуман
добрым поэтом.

МОЙ СОСЕД

*Памяти гениального нейрохирурга
Захара Осиповича Геймановича*

Он был худенький, невзрачный, с редким оперением тусклых серых волос. Любой посторонний человек, увидев, как он семенит через двор, шмыгая носом и поддёргивая локтями предательски сползающие брюки, запросто принял бы его за дворового рабочего или какого-нибудь забулдыгу-сантехника. Ну кому, спрашивается, пришло бы в голову, что это гениальный нейрохирург, за которым Москва присылает персональный самолёт, когда в кремлёвской больнице предстоит архисложная операция?

Ученики его боготворили, больные на него молились. Он был одинокий и, невзирая на славу, наверное, не очень счастливый человек. В огромной девятикомнатной квартире они жили шестером: он, его вальяжный брат Александр, невропатолог, тоже знаменитый, с женой, красивой, хозяйственной немкой, сестра Манечка с мужем и домработница Маруська, громогласная, слегка придурковатая, но очень работающая. На Манечке природа, видимо, решила отдохнуть, компенсируя перерасход умственной энергии, поэтому она ничего не делала, а просто была женой своего мужа и сестрой своих знаменитых братьев. Единственно чем они были похожи, так это тем, что все трое мучительно заикались. Это, впрочем, нисколько не смущало ни Манечку, ни Александра – Захар же обретал красноречие только во время операций. Опирируя, он яростно, замысловато, неподражаемо бранился.

Своей любимой ассистентке, умнице и красавице, он кричал:

– Я т-тебе, р-рыжая д-дура, трам-тарарам, сколько раз г-говорил, трам-тарарам...

«Рыжая дура», с обожанием глядя сквозь слёзы на своего учителя, беспрекословно и молниеносно исполняла требуемое, операция проходила блестяще, профессор размывался, и все, прислушиваясь к рокотанию утихающего грома, облегченно вздыхали.

– Всем спасибо, – со счастливой улыбкой, не заикаясь, произносил чудотворец и смущенно добавлял, – простите,

если был резковат.

О чём речь! Это были минуты такого безоблачного счастья, такой всеобщей любви и всепрощенья! Спасённого общими усилиями человека выкатывали из операционной, спасавшие вытирали со лба пот блаженной усталости. Ещё одна победа над смертью!

О Великом Хирурге ходили легенды.

Рассказывают, однажды оперировать пришлось без наркоза – может быть, боялись отёка мозга – я не медик, я точно не знаю. Ранбольной (так их называли в госпитале), молодой чернобровый узбек, кричал не своим голосом – то ли от боли, то ли от ужаса, что, в общем, вполне естественно: завопишь, если тебе вскрывают черепную коробку! Однако профессора поведение больного в момент, когда Он священнодействовал, крайне возмутило.

– 3-з-за-молчи, трам-тарарам, – загремел он, – ты мне, трам-тарарам, работать мешаешь, трам-тарарам-тарарам!!!

Бедняга, потрясённый, замолчал. Он молчал до самого конца операции, чем встревожил всю операционную бригаду, – кроме профессора, разумеется.

Операция прошла, как всегда, блестяще, процесс заживления шёл вполне благополучно – молодой, неизболевшийся организм активно восстанавливался. Одно было непонятно, одно беспокоило и огорчало сопалатников и весь медицинский персонал: Саидахмат з а м о л ч а л! Нет, не то чтобы он онемел – с речью у него было всё в порядке – просто он почти ни с кем не разговаривал и был необъяснимо мрачен. Сестрички и нянечки изо всех сил старались его развеселить, разговорить – тщетно. Смуглая Ниночка, на которую он явно заглядывался перед операцией, твердила ему:

– Ну что ты, в самом деле, ведь у тебя всё так хорошо: операция прошла замечательно, сам профессор оперировал, говорит, всё у тебя в порядке. И заживает хорошо, и из дому тебе пишут. Ты молодой, красивый, приедешь домой, женишься. Ну, правда – отчего ты такой грустный?

Страдалец сверкнул на неё из-под чёрных сросшихся бровей:

– Как ругается! Как сладко ругается! Зачем я так не умею?!

Напряжённая палата грохнула хохотом. Смеялись даже самые лежачие.

Умер профессор во время операции. Говорят, в этот день он выглядел как-то необычно. Взгляд его небольших, ястребино-зорких глаз казался непривычно рассеянным, словно он всматривался во что-то внутри себя, но первые этапы операции, первые её аккорды были по обыкновению четки и лаконичны. Однако, сделав первый надрез, он внезапно распрямылся и произнес, обращаясь к ассистирующему ему ученику, тоже уже профессору:

– Миша, оперировать придется тебе. Извини, я, видимо, умираю.

И, аккуратно сняв перчатки, лёг на стоявший в углу топчан.

Гениальный диагност, он и в этот раз не ошибся.

Михаил Сергеевич, Миша, добела сжав онемевшие губы, продолжал операцию: он не мог подвести учителя. Строгая хирургическая сестра Вера Ивановна, по прозвищу «Тётя-Лошадь», марлевым тампоном сосредоточенно убирала слёзы с его лица, чтобы они не капали на раневую поверхность.

Хоронила профессора клиника, которую он создал и прославил – его единственное, любимое детище. За гробом шла такая толпа, что по всей Конюшенной остановилось движение. А он лежал – маленький и – один среди всех – заслуженно, окончательно спокойный.

КУДА ОНИ УХОДЯТ

Памяти Андрея Мацкевича

Вы меня простите – я заранее должна предупредить, что, может быть, не всё, что я сейчас расскажу, именно так и было. Человек, о котором я говорю, – легенда, а легенда, передаваемая из уст в уста, постепенно утрачивает документальную точность и может в подробностях погрешить против истины. Но самое главное, самая суть, самый стержень её всё равно остается – это честная правда, и большую часть этой правды я слышала от Литки Тарасовой.

Вы знаете Литку Тарасову? Нет, наверное. Я сама не знаю, где она теперь, – жива ли, нет ли, и как сложилась ее жизнь, хотя в одном уверена: жизнь эта была нелегкой. У таких людей, как она, жизнь не может быть лёгкой:

слишком легко она подставляла плечо под чужую ношу, слишком легко делилась последним, легко и смело отстаивала своё мнение, кто бы ни был ее противником. Да-да, такая она и была – прямая и лёгкая, как стрела, а разве такому человеку может быть легко жить? Говоря о ней, многие пожимали плечами: чудачка! Наверное именно поэтому к ней чаще, чем к другим, обращались за помощью. Полное имя ее было Ипполита. Литка утверждала, что пишется оно через два П, как ипподром, потому что происходит от латинского названия лошади. И правда – было в ней что-то от неказистой степной лошадки: крепость, выносливость, упрямая, непоказная надёжность и верность.

Попала она в Харьков необъяснимыми, ей одной понятными путями откуда-то с Алтая. Рванулась в Москву, поступать в единственное тогда в Союзе цирковое училище, не прошла по конкурсу и непостижимым образом оказалась в Харьковском фельдшерско-акушерском, за одной партой с моей сестрой. Вот так, собственно, мы и познакомились.

Была она смешная – вся такая ясная, с веселыми ямочками на щеках и на подбородке, с крутыми алтайскими скулами, косым азиатским разрезом соколино-зорких глаз и голосом, неожиданно низким и сочным. И слова у нее были неожиданные, прицельно-точные, и бранилась она неожиданно и смешно: « Во, чешуя!» или «Да отстань ты, нужен ты мне, как семнадцать куч!» Откуда такое странное мерило, и почему именно семнадцать, никто не знал – а прозвище «Чешуя» закрепилось за ней среди друзей на всю оставшуюся жизнь.

Удивительное дело: была она абсолютно непредсказуемой, но что бы она ни учинила, через минуту или через час всем уже казалось – или оказывалось? – чем-то единственно правильным, само собой разумеющимся, во всяком случае, для самой Чешуи. Просто она была настоящая.

Неделями она жила у нас, причем появлялась без предупреждения, неожиданно – просто приходила с чемоданчиком или рюкзаком, произносила утвердительно «Я у вас поживу» – и незамедлительно принималась за устройство дальнейшей жизни: запихивала в кухонный шкафчик принесенные харчи; протерев до стерильной чистоты облезлый линолеум нашей «девичьей», заталкивала куда-нибудь в уголок

аккуратно упакованный спальник и дальше действовала, как говорится, по обстоятельствам. И самое интересное было то, что при этом она нисколько никого не стесняла. Более того: как-то так получалось, что Литка всегда оказывалась в нужное время в нужном месте, а когда через некоторое время она вдруг говорила: «Ну, ладно, я пошла» – и исчезала со своим спальником неведомо куда и насколько, у всех у нас оставалось ощущение какой-то пустоты, которой, как известно, природа не терпит. Ну, вот как будто с нашего убогого чердака вынесли какой-то нужный, привычный, серьезный предмет – стол или печку.

Училась она ярко, но беспокойно: задавала учителям неудобные, нетерпеливые вопросы, математичку изводила тем, что предлагала другие, свои, доказательства теорем, химик называл ее «шкатулка с сюрпризом», но большинство учителей, невзирая на причиняемое ею беспокойство, относились к ней с интересом: интересно все-таки, чего еще можно ожидать от этого алтайского чуда?

Но опять таки – рассказ этот не о ней, а благодаря ей, потому что это от нее я впервые услышала об Андрее Мацкевиче.

В первые же каникулы девчонки поехали в альплагерь. Алка, сестра моя, как и положено новичку, выполнила за сезон нормы на значок «Альпинист СССР», Литка же, с ее цирковой, звериной ловкостью и силой, умудрилась, поразив бывалых мастеров, выполнить за то же время нормы второго разряда, а это, сами понимаете, далеко не шутка. Чешую все зауважали – и она того заслуживала.

Девчонки вернулись из альплагеря, переполненные впечатлениями, и вот тогда в нашем доме, среди прочих, новых для меня, имён, впервые прозвучало это имя, неизменно сопровождаемое восторженно-уважительными междометиями: «О, Мацкевич!..», «Ну, Мацкевич!..» Мастер спорта по альпинизму, архитектор и художник-акварелист, был он, как поется в песне, «удачлив и смел», и видимо, было в нем еще нечто такое, за что его любили все, кто только знал, без различия пола и возраста. Были у него еще два брата, тоже, кажется, альпинисты, но на них, видимо, всеобщей любви не хватило. Что же касается сестры, рыжеволосой красавицы Натальи, по совместительству ортопеда-травматолога, обычно проводившей свой отпуск врачом

в медпункте альплагеря, то по ней, как свидетельствовали девчонки, перманентно сохла большая часть представителей сильного пола. Во всяком случае, с ее приездом среди мужского населения лагеря непременно возрастало количество случаев мелкого травматизма. Кто-то из лагерных остряков однажды даже повесил над дверью медпункта табличку с надписью «Свято место пусто не бывает» – потому что не было минуты, когда бы там не топтался очередной страдалец. Однако красавица в белом халате была со всеми равно строга и неприступна. Смазав йодом или зеленкой очередную царапину, она безжалостно выпроваживала воздыхателя, освобождая место следующим. Никто, впрочем, при этом не обижался – наверное, потому, что явление было массовым, а на миру, как известно, и смерть красна.

На нашем обшарпанном чердаке, где, развлекая маму рассказами о своих походах, постоянно толкалась молодая поросль харьковского туризма и альпинизма, имя Андрея Мацкевича было все время на слуху.

Увидела я его впервые уже зимой на тренировке в Харьковской Швейцарии. Лыжник из меня был никакой. В детстве у меня не было ни лыж, ни коньков, и в первый раз я встала на лыжи уже в институте – абсолютным лыжным ничтожеством. То есть на ровном месте, на накатанной лыжне – еще куда ни шло, а с горы – ни боже мой!

Преимущественно по методу, рекомендуемому Маяковским: «Хочешь убедиться, что земля поката...» Лыжи – в одну сторону, палки – в другую, и где-то посередине – я сама.

Поэтому на вылазках в школе инструкторов по туризму я обычно плелась в хвосте – не от страха, а от стыда: во всем остальном я не привыкла быть последней!

Так и в этот раз, на тренировке в отработке техники спуска и подъема, я уныло ожидала своей очереди (не налететь бы сослепу на кочку, на пень, или на кого-нибудь из товарищей!) – как вдруг всё вокруг как-то ощутимо изменилось. На поляну высыпала группа веселых, уверенных – мастера, горнолыжники! – и мы, приготовишки, сразу поблекли и увяли.

Центр всеобщего внимания моментально сместился и отодвинулся от начала крутого спуска назад, на поляну. Все, как наэлектризованные клочки бумаги, почему-то стягивались ко вроде бы ничем не замечательному, не

очень высокому, рыжеватому парню – правда, постарше нас. Ища объяснения этой непонятной центростремительной силе, я обратилась к кому-то из стоявших поблизости. На меня посмотрели, как на инопланетянку:

– Так это же Мацкевич!

Раз просто «Мацкевич» – значит, Андрей!

Очень хотелось подойти и рассмотреть его поближе – проклятая близорукость! – но его окружали мастера, небожители, и мне среди них делать было нечего.

Ну, что ж – раз так, надо пользоваться моментом: счастливая, что никто на меня не смотрит, я ныряю со склона. Никто не видит, как неуклюже я топырю локти, как бездарно торможу плугом, когда, может быть, надо делать что-то совсем другое, и – ура! – я со свистом съезжаю вниз, ни разу при этом даже не попытавшись упасть. Затем, окончательно обнаглев, нахально – по всем правилам! – взбираюсь наверх и лихо съезжаю ещё раз, благо – спасибо Мацкевичу! – никто не смотрит мне в спину.

С этого дня я, очень издалека, разделяю всеобщую симпатию к Андрею Мацкевичу: ведь это он тогда помог мне самоутвердиться! Издалека – потому что пути наши, по сути, не перекрещиваются: я уйду в горный туризм, и альпинисты мне хоть и родня, но вроде бы двоюродная. Конечно, горы у нас одни и песни одни, но альпинисты идут на восхождение из стационарного лагеря, а нас носит по разным краям – так сказать, «по долинам и по взгорьям». Им, наверное, труднее, но нам, может быть, даже интересней. Встречаемся на всесоюзных слётах, спорим, соперничаем – кто нас рассудит? Но всё равно мы – родня, одинаково беспокойный народ. И горы у нас одни, и песни одни...

И по-прежнему на нашем чердаке собираются и те, и другие, и за шкафом у нас стоят специальные доски – на тот случай, если на всех не хватит стульев. И каждому есть, чем поделиться, что рассказать – и чаще не о себе, а друг о друге. Так однажды кто-то рассказал, как наша Литка за один сезон спасла двоих. А ведь сама, между прочим, никому ничего об этом не говорила – вот Чешуя!

Оказывается, они пошли вдвоем на восхождение – Литка и один мастер спорта, грузин Кахиани. Пошли – и попали в грозу, а может, и просто, без грозы, ударила их шаровая молния. Говорят, такое в горах бывает.

Литка очнулась первая: котелок оплавлен, штормовка изорвана на ленточки, голова гудит – а рядом Кахиани, без сознания. Попыталась привести его в чувство – медичка же всё-таки! – не получается. Так и потащила в лагерь – и рюкзаки, и мастера спорта. Ну, где-то по дороге он пришел в себя, но идти сам всё-таки не смог. Как его Литка дотащила, одному Богу известно. Добрались до лагеря – а там переполох: повариха рожать собралась! Досрочно, – преждевременно, то есть. До роддома от лагеря, как говорится, два солдатских перехода, а врача, как на грех, в лагере на ту пору не оказалось. Пришлось Чешуе – всё ж таки фельдшерско-акушерское училище! – роды принимать. Жаловалась, бедняга, потом: «Во, чешуя, лучше бы я сама рожала!»

Следующее лето у меня не заладилось, я застряла в городе. И вдруг, посреди сезона, раньше времени появляется Литка – суровая, необычная, серая какая-то: Мацкевич разбился! На пике Щуровского...

С пиком Щуровского, говорят, у него отношения вообще не сложились. Несколько лет назад он там ключицу сломал, и на этот раз вроде бы идти туда ему как-то не хотелось – предчувствие, что ли? Ну, может, насчет предчувствия кто-то и выдумал – Литки-то самой при этом не было, это ей рассказывали. Вроде бы повёл он ребят в тренировочный поход: показывал, как прокладывать скальный маршрут, как скальные крючья забивать – и тут откуда-то сверху сорвался камень, и ударил Андрея в висок.

Не дай Бог никому из вас на деле узнать, что такое ускорение силы тяжести, что такое камень, сорвавшийся в горах, – пусть даже совсем небольшой! От удара Андрей потерял сознание и сорвался – а шел он на жесткой страховке! Одного до сих пор не могу понять: как могло случиться, что он, инструктор, допустил грубое нарушение – зафиксировал грудную обвязку на пояснице? Рывок был настолько силён, что повредил позвоночник: у Андрея отнялись ноги. Ребята растерялись: в первый раз они видели его беспомощным, и никто не знал, как ему помочь. Кто-то из девчат заплакал – и тогда Андрей запел. Коченея в своей штормовочке, он пел задорную лагерную: «Попал я, бедненький, в холодную ночёвку, и холод косточки мои пробрал...»

До самого прихода спасателей он пел и шутил,

подбадривая группу. На подходе к лагерю носилки встречали все, кто только там был. Один парнишка бросился к Андрею со слезами – Андрей строго одёрнул его: «Не разводи сырость, а то я тебя на восхождение больше не возьму. Мне хлюпиков не надо!»

Домой, в Харьков, его везли Наташа и Лита. Андрей не чувствовал уколов, которые делала ему сестра, – в нижней половине тела чувствительности не было. Чтобы Андрей не осознал этого, чтобы не понял, что это значит, Литка всячески заслоняла Наташу – то вроде бы опраивала ему одеяло, то предлагала термометр. Всю долгую дорогу девушки крепились: никаких слёз, голос должен был звучать спокойно! Андрей пытался шутить.

С вокзала его повезли прямо в ортопедический институт, где когда-то лежал Николай Островский, и где теперь работала Наталья. Заключение консилиума не оставляло надежды: разрыв спинного мозга. Операция? В практике харьковских нейрохирургов такой операции не было. Правда, за несколько лет до того ученик гениального Захара Геймановича, профессор Горбачев, произвёл подобную операцию на упавшей с крыши кошке – и кошка выжила. Но на человеке? Кто решится на такое? А если никто – что ждёт Андрея? Паралич и смерть от уремии? И Михаил Сергеевич решил.

Мы жили в одном доме с Горбачевым. Дом был ведомственный: с улицы парадный ход вёл в медицинскую библиотеку, в квартирах на первом и втором этаже и входом со двора, жила, в основном, сабуровская профессура. (Для не-харьковчан поясню: Сабуровой Дачей именовалась огромная территория, на которой размещался нейро-хирургический госпиталь и добрых два десятка неврологических, нейрохирургических и психиатрических клиник). Однако самыми высокопоставленными жильцами в доме были мы: мы жили на чердаке, под самой крышей – дом был двухэтажный. Профессор Горбачев жил под нами – таким образом, некоторое отношение к нейрохирургии мы всё-таки имели, – правда, косвенное.

В день, на который была назначена операция, никто из нас не находил себе покоя. Вечером, осунувшаяся, с лихорадочными мазками румянца на скулах, к нам прибежала Литка с последними новостями: оперировал Горбачев, операция длилась очень долго, ничего определенного пока сказать нельзя. Наталья Даниловна осталась дежурить при Андрее Даниловиче. Завтра надо

узнать у Горбачева, как всё прошло и чего можно ожидать.

В том, что это должна сделать я, у Литки не было сомнений: «Вы же соседи!» Соседи соседями, но ведь есть еще врачебная тайна. И вообще – кто я такая, чтобы он со мной откровенничал о своем пациенте?

По-моему, в ту ночь никто из соседей по второму этажу не отважился выйти в уборную. Уборная была одна на весь этаж, на большой лестничной площадке, куда выходили два перпендикулярных коридора и лестница с нашего чердака. И всю ночь, целую ночь напролёт по площадке, мерно раскачиваясь и куря одну папиросу за другой, вышагивал Михаил Сергеевич. Несколько раз, пока нас окончательно не сморил сон, мы с Литкой по очереди тихонько выглядывали сверху: он всё ходил и ходил, все так же раскачивая тело взад и вперед, время от времени сминая очередную папиросу твердыми белыми пальцами.

Утром мы с Литкой едва не поссорились: ну, как я могла пойти к профессору с расспросами? Он ведь всю ночь не спал! В конце концов Литка со мной согласилась – и тут нам неожиданно повезло: мы встретились с ним на лестнице. Я не успела и рот открыть, как в Михаила Сергеича вцепилась Литка – и очень хорошо, что вцепилась. Мне он, наверное, ничего не сказал бы, а её он видел в клинике, с сестрой Андрея и, может быть, принял за какую-то родственницу.

Знаете, что он нам сказал? «Я шел на операцию почти без надежды. Но без операции это была бы верная смерть, а операция давала хоть пол-шанса, хоть четверть шанса – хоть тень надежды! А после операции я понял, что такой человек и с того света смог бы вернуться».

Уже на операционном столе Андрей попросил разрешения петь: «Лучше ведь петь, чем стонать и ругаться, правда? Тут ведь женщины...». И пел. Во время операции! Представляете – пел!

Да, мы уже могли представить – ведь тогда, висая на жесткой страховке, он тоже пел. Мы могли – а Михаил Сергеевич всё не мог остановиться:

– Представляете, ассистентка моя и сестра хирургическая, обе слёзы глотают – а он поет. Про куст какой-то барбарисовый, про речку горную... Они плачут – а он поёт! Нет, такой человек и с того света вернуться может, это я вам говорю! Теперь главное – уход. А Наташа его выходит, я верю.

Верить очень хотелось. Может быть, поэтому мы не стали уточнять подробностей. Главное, Андрей жив, и есть надежда. Ему отвели отдельную палату; сестра была неотступно при нем. Литка, чем могла, ей помогала. Потому ли, что всё было так серьёзно, или потому, что это было в клинике, где Наташа работала, мы стали называть обоих по имени-отчеству – даже за глаза. Честно говоря, я завидовала Литке: она всё время делала что-то нужное, а какой мог быть толк от меня? Только и того, что я жила в одном доме с Горбачевым – ну, и что?

Забегая к нам, Литка рассказывала, что Андрей Данилович попросил друзей сделать ему что-то вроде столика, чтобы он мог работать. Врачи удивились, но разрешили: Горбачёв сказал, что это будет способствовать выздоровлению! Господи, я преподнесла Чешуе это слово как подарок: ведь он не сказал «выживанию» – он сказал «выздоровлению»!

Прошло еще немного времени, и Литка сообщила, что Андрей работает над проектом моста на Холодную Гору; потом – что он вошел в редколлегию туристско-альпинистского сборника «На просторах Родины чудесной». Так, наконец, дело дошло и до меня. Ведь само собой разумеется, что нет привала без костра, и нет костра без песни, а песен моих, со мной или без меня, бродило по горам уже немало. Я не хваюсь: походная песенка – дело нехитрое: нередко у неё и мелодии своей нет, ложится на чужую – но душу всё равно греет. Так вот, однажды на наш чердак вдруг неожиданно-лестно явился один серьезный альпинист и сказал:

– Слушай, а правду говорят, что это с твоей песней мы со слёта уходили?

Отречься от своего детища я не стала, хотя еще не было ясно, к чему он клонит.

– А «Пролетіли вгорі журавлі» тоже твоє?

– Ну да – а что?

– А еще есть?

– Ну, есть там разное, – промычала я в сомнениях, ибо едва ли там было чем особенно гордиться.

– Так давай свои песни нам в сборник – хватит им бродить по свету бесфамильными. Подготовь – а я послезавтра приду.

Вот так я удостоилась быть представленной Андрею Мацкевичу.

Недели через две Литка явилась торжественная и объявила, что ей поручено привести меня к Андрею

Даниловичу.

У дверей палаты нас встретила Наталья Даниловна и строго сказала:

– Только недолго, девочки.

Я не без трепета вошла в пропахшую лекарствами маленькую, светлую палату.

Если бы я не знала, куда и к кому я иду, я бы его не узнала. Пожалуй, единственное, что было узнаваемо, это волосы – прямые, рыжеватые, густые вихры. Бледное, цвета слоновой кости, лицо было незнакомо – но через минуту оно осветилось тенью прежней улыбки.

– Вот ты какая! А знаешь, я ведь так почему-то на тебя и подумал.

По правде говоря, я сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь до того меня замечал: просто понял, что я оробела, и великодушно решил меня ободрить. Я была ему благодарна.

Напряжение тех минут было так велико, что я начисто забыла, о чем мы с ним тогда говорили. Может, о песнях моих, может, о пройденных дорогах. Почему-то запомнилась готовальня на тумбочке – такая неожиданная в больничной палате, и бескровные пальцы, цепко державшие карандаш, остро очиненный «кохинор», на самодельном фанерном пюпитре. Говорливая Литка на этот раз молчала.

Через какое-то время вошла Наталья Даниловна:

– Пора, девочки.

Мы поднялись, неуклюже попрощались и попятились к двери. Андрей устало кивнул, сказал какие-то добрые слова и откинул голову на подушку.

Время шло. Андрей жил. Состояние его не менялось, но он работал, упрямо работал, и хотя Горбачев говорил, что это само по себе уже хорошо, временами мне начинало казаться, что в этой стабильности пробивается нотка безнадежности. Наталья исхудала, измучилась, яркая красота ее поблекла, и Литка стала замечать, что Андрей смотрит на нее с тревогой. Но надо было верить, верить, верить!

Навестать его я не решалась – разве что каких-то несколько раз, когда у него возникали какие-то вопросы по альманаху. Я же представляла, как нестерпимо унижительно для Андрея Мацкевича беспомощное существование спинальника – судна, катетеры, обтирание камфарным спиртом от пролежней, когда

тебя переворачивают, как бесчувственное бревно... Здесь нет места чужому, стороннему человеку – а кто я для Андрея? Никто. Это он для меня образец, символ мужества, воли, достоинства и еще не знаю чего – всего, что делает человека Человеком, а я... Ну что я? Другое дело друзья, товарищи – архитекторы, альпинисты – с кем он шел по жизни в одной связке! Они приходили к нему шумные, весёлые (старались быть весёлыми!), приносили в пропахшую камфарой палату ветер и запах гор. Наталья Даниловна строго дозировала их пребывание: шутя – своя же! – выпроваживала их, они – шутя (все свои!) повиновались.

Нет, я не навещала Андрея – ему это не было нужно, – но, возвращаясь с тренировки, каждый раз приносила и передавала через нянечек какой-нибудь кусочек воли: веточку лещины с орехами, охалку бересклета с алыми сережками или простодушные ромашки и колокольчики – чем только может порадовать поле и лес. Никаких записок я не писала – зачем? Всю свою жизнь, с самого детства я боюсь лишних слов и ненужных поступков.

Проект моста был вовремя сдан. Андрей приступил к проектированию чего-то там для нового здания вокзала. Профессор Горбачев, заходя в палату, смотрел на своего крестника влюблёнными глазами.

И наконец, случилось чудо. На одной ноге шевельнулся большой палец – Литка клялась, что Наталья Даниловна видела это собственными глазами! Вроде бы начала восстанавливаться чувствительность. Михаил Сергеевич ходил именинником. И тогда встал вопрос: самое страшное, видимо, прошло – так не пора ли послать Андрея для реабилитации в специальный санаторий? Андрей настаивал: Наташе надо отдохнуть. Вон как извелась – кожа да кости!

И Андрея отвезли в санаторий.

Наступило время какой-то тревожной пустоты. Литка слонялась как неприкаянная и однажды явилась с неожиданным предложением: давайте побелим кухню! Надо же что-то делать!

Побелили. Не помогло.

И вдруг грянул гром. Литка, милая, неунывающая Чешуя, прибежала к нам с перекошенным лицом и разрыдалась: умер! Андрей Данилович умер! Ведь так уже хорошо всё шло, и крепла надежда, пока рядом была преданная Наташа, была верная Чешуя, были друзья и волшебник Михаил Сергеевич! А там его

встретило казённое равнодушие: кто-то не доглядел, кто-то чего-то не сделал вовремя, чего-то не проверил – и Андрей ушел. Умер от уремии. Умер – это после того, как уже случилось невероятное: у человека с полным разрывом спинного мозга зашевелились пальцы, стала восстанавливаться чувствительность!.. Ушел – и теперь уже не вернется...

«Горная тропочка вьётся,
Бурная речка шумит...
Кто в ту долину вернётся,
Холмик кто тот посетит?..
Ветер тихонько колышет,
Гнёт барбарисовый куст,
Парень уснул – и не слышит
Песни сердечную грусть...»

Ходят по его мосту люди, ползут на Холодную Гору трамваи – но ни пассажиры, ни пешеходы не знают, что это мост Андрея Мацкевича. И даже мы, любившие его, вступая под своды вокзала, уезжая и возвращаясь домой, не знаем, в какой архитектурной детали запечатлелась здесь мысль Андрея и воля Андрея, парализованного, но не сломленного.

Куда они уходят, эти светлые, сильные люди? Некоторые уходят – и после них остаются города, улицы, станции метро и даже планеты, названные их именем. Другие, сотворившие, может быть, нечто, даже несравненно большее, уходят, как Андрей Мацкевич, оставляя свои имена только в немногих, тоже не вечных, сердцах.

Куда они уходят?

РЕНАТА

В первый раз я увидела её в фонокабинете. Собственно, название кабинета не вполне соответствовало его функциям. Он был один на все три отделения; здесь по разным углам стояли шкафы с документацией и сидели лаборанты трёх кафедр. Здесь же, оправдывая приставку фоно-, стояли громоздкие магнитофоны, которыми строго в порядке очереди пользовались на занятиях группы всех трёх отделений. В перерывах, от горькой послевоенной бесприютности, сюда же набивались преподаватели – всё-таки лучше,

чем слоняться взад и вперед по узкому и тёмному коридору, где на тебя в любую минуту может налететь какой-нибудь ошалелый студент. Того и гляди выбьет из рук твой тощий бутерброд – тут ведь не разминешься!

Так вот: в первый раз я увидела Ренату именно здесь.

Красивая девочка, с тёмными, горячими глазами и хорошей улыбкой. Тёмно-каштановые локоны расплескались по большому воротнику, скрадывающему лёгкую сутулость; тёмно-синее, хорошо сшитое платье. Нет, я определённо никогда её не видела – но держалась она как дома.

– Кто это?

Мне ответили, что это новая аспирантка кафедры английской филологии, дочка Шуры Шехтман, Бетиной подруги. Бетя – Беатриса Иосифовна Роговская – заведовала у нас кафедрой английской филологии, Александра Шехтман преподавала немецкий.

Рена пришла к нам после Университета. Мы были прикреплены к разным кафедрам и нечасто общались – разве что так, на ходу, между парами. Да и мало у нас было общего. Разная среда, разные друзья, разные условия жизни. Однако, было нечто, сближавшее нас – нет, не как друзей, а скорее как партнёров по теннису: чувство слова, чувство юмора и склонность к стихоплётству. На всяческих собраниях, пленарных заседаниях, вечерах и демонстрациях мы с аппетитом перебрасывались «хохмами», а возвращаясь домой – от института до начала Сумской нам было по дороге – забавлялись чем-то вроде буриме, сочиняя весёлые рифмованные нелепицы: про строгую ворону, гуляющую по перрону, про некую собаку, ввязавшуюся в драку, и т.д. и т.п.

От института до часов Яковлева, от часов Яковлева, мимо «Восточных сладостей» и Центральной лектория – до второй аптеки, от второй аптеки до ресторана «Уют». Здесь наши пути расходились: Рена шла дальше, а я сворачивала на Донец-Захаржевскую.

Размеры наших совместных шедевров определялись длиной совместного пути, с учётом времени, потраченного на обмен текущей информацией.

Я отчётливо помню, что где-то в районе «Восточных сладостей» родилось следующее гениальное четверостишие:

В лесу, под одной из развесистых ёлок,
Жил маленький ёжик, совсем без иголок;
Немного подалее, под ёлкой похуже,
Совсем без одежды жил маленький ужик.

Как дальше сложилась судьба этих неодетых соседей, я не помню – возможно, нам встретился кто-то, кто прервал эту интригующую историю, а может, она всё-таки как-то закончилась. Обычно, в зависимости от обстоятельств и настроения, у нас получалось от двести до восьмиста за один поход – «а что сверх того – то от лукавого»!

Несколько раз наши опусы появлялись на 16 странице «ЛГ». То, что они подписывались только одной, короткой фамилией «Муха», представлялось мне вполне естественным: смешно было бы такие куцые стишата подписывать двумя, и вообще эта забава мною никак не воспринималась всерьёз.

Вскоре Институт иностранных языков вошёл в Университет и стал его факультетом. С прекращением его самостоятельного существования настал конец нашему совместному стихотворчеству: теперь после занятий мы расходились по домам в разные стороны. Иногда на переменах Рена ловила меня в коридоре и, затаив в какой-нибудь угол, читала новые стишата – всегда весёлые, всегда изящные и часто совсем неожиданные – она отлично обходилась без соавторства.

Где-то она раздобывала различные английские Nursery Rhymes и раздавала своим студенткам для перевода. Те обычно переводили их прозой; результат группового творчества передавался Вадиму Левину. Очевидно, поначалу предполагалось, что он по подстрочникам напишет «облагороженные» переводы, но в конце концов было принято иное, оригинальное решение: проникнувшись весёлым духом усмешливой английской поэзии, Левин создал «переводы стихов, ещё не написанных англичанами». Вообще постепенно Рената и Вадим Левин стали в творчестве «общающимися сосудами».

Я думаю, это шло на пользу обоим.

Затем факультет подвергся серьёзным преобразованиям и нас с Ренатой окончательно «развели»: меня перевели на новую кафедру – кафедру перевода, обслуживавшую новое отделение, переводчиков, Рена осталась на педагогическом. Я по уши увязла в новых теоретических дисциплинах: надо

было создавать курс сопоставительной стилистики, курс теории и практики художественного перевода, литературную студию – словом, мы просто потеряли друг друга из виду. Правда, я ещё сделала слабую попытку вытолкнуть Ренку на поверхность: раздобыла где-то телефон главного редактора столичного журнала «Веселка» и сообщила ему, что в Харькове живёт автор замечательно весёлых стихотворений. Надо сказать, он не проявил по этому поводу особого энтузиазма, – тогда я, махнув рукой на междугородние расходы, стала ему читать Мухины шедевры про осьминога, который «подошёл к осьминогу и в знак уваженья пожал ему ногу» и про крокодила, который «вчера... улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно» – и всяческую прочую мелкую прелесть. В конце концов, он не устоял и сказал: «Ладно, пусть присылает». Но Рена почему-то ничего ему не послала.

А время шло. Рена побывала в Англии и привезла оттуда множество весёлых детских книжек и весёлую методику *story telling*, Можно было подумать, что всё это – и книжки, и методика – создано специально для Мухи, с её артистичностью и её чувством юмора. Как говорят на одесском Привозе: «Дамочка, я вас не уговариваю, но это платье как на вас сшито!». Пришёл весёлый, нарядный успех и весёлая популярность.

А потом грянула беда. И когда мы встретились на восемнадцатом этаже всесоюзного онкоцентра, куда я на носилках привезла мужа, я увидела совсем другую Ренату. Прежнюю – слегка подчёркнутую, демонстративную – беспечность сменило трезвое, горькое мужество. Но и здесь, на восемнадцатом этаже, в отделении клинической фармакологии, на последнем, казалось, рубеже надежды она по-прежнему острила и сыпала весёлыми стихами. Отделение возглавлял Бог клинической фармакологии, профессор Личиницер – «добрый доктор Личиницер» (как не обыграть в такой ситуации такую фамилию!): «Приходи к нему лечиться, и Коровкер, и Волчицер!».

Отсюда – и дальше по жизни, до самого её конца, Рена шла с запредельным мужеством. Свидетельство тому – её искрометно веселые книжки, её блестящие выступления (на последнем дыхании) в России, на Украине, в Америке и в Израиле – и свет её улыбки, оставшийся с нами навсегда.

НОЧНОЙ ДЕБЮТ

Народному Артисту Украины

Б.М. Табаровскому

его светлой памяти.

Я знаю его давно, очень давно – со школьной скамьи, но сразу предупреждаю: друзьями мы никогда не были.

Я не знаю, как и когда пробудилась в нём любовь к сцене, не знаю, кто был его первым учителем. Я не стану рассказывать ни пикантных, ни трогательных подробностей его биографии – я их не знаю И вообще, в полуторамиллионном нашем городе один миллион наверняка знает о нём гораздо больше, чем я. И тем не менее, я знаю и помню нечто такое, чего, кроме нас двоих, да может ещё человек пяти-шести, не знает сегодня никто.

Но – по порядку.

Мы перешли в школу, где он учился, когда расформировали нашу. Новая была ближе к дому и тем удобнее, но не было в этом большом и неуютном здании той домашней прелести, той общности больших и маленьких, к которой мы привыкли.

Мы здесь были чужаками и поначалу держались плотной стайкой, не растворяясь и не смешиваясь с «аборигенами». Впрочем, «аборигены», переведённые сюда из разных школ двумя годами раньше, и сами не были едины: они делились не столько на классы, сколько на «землячества», и отличались друг от друга привычками, поведением и даже внешностью.

Одни были более заметны, другие держались в тени. Борис был заметен.

Высокий, синеглазый, с холодноватым румянцем на узком, неулыбчивом лице, он казался нам образцом элегантности в своём синем вельветовом пиджаке. Совершенно невозможно было представить его растрёпанным, перепачканным, дерущимся на перемене с другими мальчишками; он так разительно отличался от нашей растерзанной разбойной оравы, что, хотя и жил по соседству, и классы наши были почти рядом, мы наблюдали за ним с таким отдалённым и рассеянным интересом, как если бы он жил и учился на Луне. Честно говоря, симпатии я к нему тогда не питала. Любопытство – да, но симпатии он мне не внушал.

Поэтому, когда одна из девчонок в него влюбилась,

нас поразил благоговейный ужас. Это было как болезнь, прекрасная и безнадежная, и мы относились к больной бережно и сочувственно.

Разумеется, влюблялись мы все. Я сама в третьем классе была по уши влюблена в Вовку Пасику – в его круглые глаза, круглый стриженный затылок, его веснушчатые руки, перепачканные чернилами, его круглые коленки, вечно в синяках и ссадинах, его вышитую крестиком сорочку и короткие штанишки на бретельках. Но то было совсем другое дело: с Вовкой можно было играть на уроках в «морской бой», с ним можно было в случае чего подраться. А Борис... Нет, это было всё равно, что влюбиться в лорда Байрона или в Аэлиту.

Он уже тогда посещал драмкружок при Доме Учёных; с ним вместе туда ходили ещё пятеро. Друзья и одноклассники называли его Бобкой – для нас он был Борисом. Не Боря, не Борька – только Борис. Остальных мы называли запросто – Юлик, Нелька, Рафочка... Он был Борис – словно само имя его не допускало никаких непочтительных суффиксов. Все шестеро часто выступали на школьных вечерах – но, честно говоря, впечатляла меня одна Неля. Она не играла – она священнодействовала. Её угольно-чёрные глаза нестерпимо сияли, и, независимо от того, какую роль она играла, мне казалось – если надо, она, не меняясь в лице, с тем же восторгом взойдёт на костёр.

Шёл июнь сорок первого. Экзамены уже закончились, и в школе хлопотал родительский комитет, занятый подготовкой выпускного вечера. В виде поощрения были приглашены отличники младших классов – только в нашем их было девятнадцать (лихость в учёбе – это был у нас особый, изысканный вид хулиганства!) Вечер удался на славу. Играл школьный оркестр, блистали звёзды школьной самодеятельности (Борис, разумеется, в их числе), а потом в зале накрыли столы – и, ох, какое было мороженое! Мы ели мороженое, пили сидро и samozабвенно отплясывали «шерочка с машерочкой», нисколько не заботясь о героях дня – выпускниках. Никто не обращал на нас внимания, никто не прогонял нас спать, и, когда в пять часов утра, поёживаясь от утренней свежести, хмельные от усталости, мы расходились по домам, никто ещё не знал, что начинается последний мирный день. И вчерашние десятиклассники, взявшись за руки, уходившие из

детства, ещё не знали, что завтра им предстоит перешагнуть иной порог.

В воскресенье все долго спали, родители разговаривали шёпотом и не включали радио, чтобы не будить разоспавшихся гуляк – и вдруг мир перевернулся!..

... Наспех перекинув через плечо брезентовую лямку пылившегося на гвозде противогаза БН – «боевой несекретный» – мы спешили в школу мимо молчаливой толпы, густеющей перед чёрным раструбом громкоговорителя.

В палисаднике перед школой, в школьном вестибюле толпились на равных ученики и учителя: я никогда не думала, что вместе нас так много. Вчерашние десятиклассники тоже все были здесь: сигнал беды по привычке позвал их в школу. Все чего-то ждали, чего – неизвестно. Что-то должно было решиться – как и когда? «Дайте мне точку опоры», – сказал Архимед. Мы тоже были готовы перевернуть весь мир – пусть только нам скажут, к чему приложить свои силы!

Непривычно сутулясь, на крыльцо вышел директор, стал что-то говорить – ничего не было слышно. Пробираясь поближе, я кого-то толкнула и оглянулась: рядом стоял Борис. Грубая лямка БН подмяла ворот бледно-голубой рубашки, открыв худую ключицу. Он хмуро кивнул мне – разве он раньше со мной здоровался? Кто-то из выпускников, покрывая гул, крикнул: «Ребята, с нами всё ясно! Мы – в военкомат. Пошли, ребята!» Мы смотрели на уходивших с завистью и тревогой: для них действительно всё было ясно – а мы?

Митинга с речами и призывами не получилось – они были просто не нужны. Просто жизнь сразу вступила в другую колею – тревожную, непривычную, с другими правилами и другими обязанностями: работа на уборочной, в госпиталях, дежурства на форпостах, рытьё убежищ, очереди за хлебом, за молоком...

По ночам дежурили в райкоме комсомола – комсомольцы и не-комсомольцы, старшеклассники и мелюзга. Технический секретарь Тося Хмельницкая оставляла дежурным инструкции, чайник и электроплитку. Старшие девочки и те из младших, кто был облечён особым доверием, сидели у телефона, принимали и отправляли телефонограммы; мальчики патрулировали по району, проверяли светомаскировку.

Патрули приходили и уходили, обжигаясь, пили чай из алюминиевой кружки. Кто-то приносил бублики (с хлебом было туго, очередь занимали с ночи, но бублики и какие-то пресные вафли – говорили, что это маца, – можно было купить свободно), кто-то – драгоценный пиленый сахар. Ребята наловчились колоть его на ладони рукояткой ножа: кололи на мелкие кусочки и пили вприкуску. Сахар был плотный, таял медленно, и микроскопического кусочка хватало надолго.

Мы все хронически недосыпали: дежурили у ворот, дежурили на крышах, сражались с «зажигалками». Нам говорили: ребята, вы ведь с ног свалитесь – изо дня в день без сна! Мы отмахивались: не беда, выспимся после войны! А война затягивалась, и конца ей не было видно...

Иногда кто-нибудь приходил и молча укладывался на стульях лицом к стене, подложив под голову сумку БН. Пришедшего не тормозили и не расспрашивали: ведь город уже бомбили и уже поступали похоронки...

Борис приходил на дежурство в своём неизменном вельветовом пиджаке, бледный, но безукоризненно опрятный, садился за стол – и тут начиналось театральное действо – если только выпадала минутка затишья. Он читал стихи, разыгрывал в лицах бывшие у всех на слуху жанровые сценки Якова Рудина и даже пел. Коронным номером, однако, была, по-моему, пародия на оперу «Евгений Онегин»: здесь Борис исполнял на разные голоса все партии – вплоть до сценических ремарок.

Опера начиналась семейной идиллией: варится варенье, густеет вечер, отец семейства Дмитрий Ларин (в отличие от Пушкина, автор пародии сохранил ему жизнь) благодушно вводит публику в курс дела:

У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно...

(следует жест в сторону окна, закрытого светомаскировочной шторой)

Помещик я, деревня эта – наша,
Смеётся месяц радостно в окно;
Мои поля крестьяне убирают,
И их труды доходы обещают –
У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно...

Фальцетом вступал чайник, соперничая с исполнителем, приходили патрульные, садились за стол, наливали чай, и Онегин доверительно сообщал им:

Я пришёл в беседку
Выслушать соседку –
Татьяны ещё нет!..

Хор девушек, собиравших урожай косточковых, бодро призывал:

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы,
Пускай поёт о нас страна!..

Звонил телефон, поступало новое распоряжение, и новая группа собиралась в наряд. Борис вставал, одёргивал пиджак и светским голосом любимца публики объявлял антракт по техническим причинам. Затем надевал безотказный многофункциональный БН и уходил в ночь. Не знаю, удалось ли ему хоть раз допеть злополучную оперу до конца. По-моему, дальше сцены дуэли дело так и не пошло. Онегин нажимал курок – осечка! – но Ленский падал замертво. Секундант констатировал смерть от разрыва сердца, и сценическая ремарка подытоживала: «За сценой слышатся шаги надвигающегося капитализма».

И смятые тревогой и бессонницей лица разглаживались. Прихлёбывая кипяток, ребята слушали и улыбались.

Вы можете возразить, что это не искусство. А что же это, по-вашему? Ведь они улыбались!

А потом – как там у Булата Окуджавы? «На пороге слегка помаячили – и ушли, за солдатом солдат...»

... Та долгая война давно окончилась. На месте райкома, разбитого бомбой, метившей в электростанцию, теперь заурядная харчевня. У нас у всех – мирные профессии, и уже не под снарядами ложатся наши одноклассники. Но память жива, она не уходит. Мы ложимся спать, подложив её под голову, как когда-то свой нелепый БН, и днём, как БН, она чуточку сгибает наши плечи. А меня временами мучает мысль: что, если мы так и пронесём её через всю жизнь – без пользы, без смысла? Что, если она, как злополучный БМ, никого не защитит, никого не спасёт?..

И тогда я вспоминаю о Борисе. Нет, я не рвусь к нему за кулисы. Я усаживаюсь в полутёмной ложе или, ещё лучше, где-нибудь на галёрке, достаю трофейный полевой бинокль и, когда Борис появляется на сцене, говорю ему: здравствуй! В окуляре я вижу его лицо так близко, как будто нас разделяет только узкий стол дежурки. Я вижу, как бьётся голубая жилка на его виске, как вздрагивают брови и увлажняется от напряжения лоб. Наверное, не так легко даётся эта безупречная пластика?

Иногда – нечасто – он приходит в мой дом и говорит со мной с экрана. Я никогда не спрашиваю его: ты помнишь? Я знаю: он помнит всё – и свой дебют в ночном райкоме тоже. Он помнит, что белозубый весёлый Мончик навсегда остался под руинами Сталинграда, что Илюша, приносивший нам на дежурство бублики, погиб восьмого мая в Берлине; он помнит, что Юлик, с которым они бежали в театр по контрамаркам, был смертельно ранен в Праге девятого мая – а ведь это я принесла Юлику повестку военкомата, это я послала его на войну! Он помнит, что Валька и Генка убиты двенадцатого мая, когда уже не было войны. Ребятам повезло: им ведь так хотелось дожить до Победы! И они дожили – даже Илюша: ведь капитуляция была подписана восьмого! Только матерям от этого ещё горше...

Нет, Борис всё помнит – и он один по-прежнему солдат. За всех, за весь 9 «б».

Когда в страшном брехтовском спектакле он воплощается в Артуро Уи и ко лбу его прилипает ненавистная косая прядь, я верю: не бесплодна его память! Это она питает его ненависть и его любовь, это она даёт ему силы вести этот вечный бой.

... У него усталое, не очень здоровое лицо. Но это – если видишь его без грима.

Слабеет тело – но душа сильна,
И ум остёр, и гибкий голос звучен,
И вновь тебя зовёт твоя страна,
Поскольку вновь над ней сгустились тучи.
Нет, не война. Страна твоя больна,
И слабый пульс её частит неровно:
Её накрыла чёрная волна –
Жестокая, тупая бездуховность.

Конечно, не под силу нам с тобой
Взвалить на плечи все её заботы,
Но всё равно – мы примем этот бой,
Нелепые, смешные Дон Кихоты!
Бывает, денег нет и хлеба нет –
Но правда и достоинство дороже.
Не зря сказал Господь: да будет Свет! –
И ты его неси, куда сможешь.

ЗАГАДКА

Отчего всё-таки он умер? Сколько лет подряд я задаю себе этот вопрос – и не нахожу ответа. Именно поэтому я не назову сейчас его настоящего имени. Пусть будет Иван Иванович Иванов – ни к чему не обязывающее и ничего не подсказывающее. Или нет – пусть будет Пётр Петрович Петров: всё-таки Пётр – это «камень». Он был сильным, и ему я, может быть, обязана жизнью.

Как это всё было? Квартальная остановила меня на лестнице:

– Тебе повестка. В Германию. И не проси, чтобы я опять сказала, что ты на менку ушла – второй раз не пройдёт. В этот раз не явишься – за тобой полицаи придут. Три дня тебе на сборы.

Три дня...

Я шла по улице – в никуда. Куда мне было идти, что делать? У кого просить совета, утешения, защиты? В этом трудном мире, в эту холодную весну у меня не осталось никого. И странно – нет, страшно, – мне даже не хотелось заплакать. Пустота...

– Ты не к нам случайно идёшь? Или заблудилась на нашей улице?

Ну как сказать, что я сама не знаю, куда иду? У взрослых, наверное, так не бывает...

– Постой-постой, что-то ты мне не нравишься. Что случилось?

– Папа умер... Меня в Германию...

Зачем я ему это говорю! Он отец моей одноклассницы, моей бывшей подружки – какое ему дело до меня... Но, Господи, должна же я хоть кому-нибудь сказать – просто выговорить это! Меня прорывает – и я впервые замечаю, какое у него доброе лицо.

– Значит так, – говорит он, – приходи завтра с утра

ко мне на работу. Знаешь, где я работаю? Так вот. Только не на главную, на боковую проходную – ту, что справа, за углом. Там она одна, не спутаешь. Смотри, не опоздай!

Нет, я не опоздала! По-моему, я всю ночь не спала в ожидании первого гудка. Но когда я подошла к мясокомбинату, у главной проходной уже топталась кучка людей. Ефим Родионович сказал мне «не на главную» – я поворачиваю за угол. У правой боковой никого нет, дверь вроде бы закрыта, и мне становится не по себе. Забыл? Или передумал...

Но дверь открывается – не забыл!

– Пришла? Молодец. Пойдём!

Куда мы идём?

– К начальнику. Да вот и он.

Впереди, чуть поодаль – трое.

Вот когда я в первый раз его увидела. Не очень высокий, ладно скроенный и как-то по-простому славный – совсем не похожий на начальника большого производства – ч у ж о г о, немецкого производства. Весь какой-то надёжный. Или это я потом так решила?

Он обернулся к нам, остановив рукой другого, что-то ему говорившего, и коротко кинул:

– Привёл? Хорошо. Отведи ее в контору, пусть оформят.

И всё. И отвернулся к собеседникам – но мне почему-то стало не страшно.

Недолгая процедура оформления – и вот уже у меня в руках прямоугольная картонка, Personal Ausweis; в народе такие называют «собача картка». В ней значится, что я работаю в рого-костяном цеху вязальщицей зубных щёток.

– Теперь тебя никуда не угонят. С мясокомбината в Германию не забирают, – говорит Ефим Родионович.

Теперь я могу входить через главную проходную, да нет – не могу, а должна через главную.

Рого-костяной цех – слишком громко сказано. Это был одноэтажный, темноватый не то сарай, не то барак. В большом, плохо освещённом помещении стоял чем-то скверно пахнущий не то дым, не то туман и за длинными столами сидели и делали что-то непонятное непонятные одинаковые женщины. Нет, это мне поначалу показалось, что они одинаковые – просто почему-то все были в низко повязанных платочках. Впрочем, платочки были разные.

– Тебе тоже придётся платок повязать – видишь, какая пыль стоит?

Подвёл меня к свободному месту: вот это будет твоё! Тронул за плечо рядом сидящую женщину:

– Люся тебе объяснит, что и как надо делать. Поучишь новенькую, Люся.

Люся согласно кивнула, подняла на меня синие-синие улыбчивые глаза – с новосельем!

Так началась моя трудовая жизнь – Am Dienst der Deutsche Wehrmacht.

Передо мной какие-то тисочки, какая-то тоненькая железка, раздвоенная с одного конца, жёсткая щетина, ещё что-то – я смотрю на всё это с тоской: что со всем этим делать совершенно неизвестно. Но Люся накрывает мою левую руку тёплой ласковой ладошкой и утешительно говорит:

– Не бойся, всё у тебя получится. Дело тут нехитрое. На первых порах, конечно, норму не выработаешь, но руку быстро набьёшь. Главное – отсюда в Германию не берут, это тебе Ефим Родионович сказал?

Оказывается, Ефим Родионович мастер этого цеха.

Учёба идёт не ахти как успешно. До обеденного перерыва я успеваю сделать только четыре щётки, и вид у них не Бог весть какой элегантный, но Люся меня утешает: первый блин, как известно, всегда комом!

По гудку она ведёт меня в столовую – подумать только: тут дают обед! И первое, и второе! На первое бульон из костей, а на второе казеиновая лепёшка – почти что сырник!

– Это Пётр Петрович добился: отходы производства идут на столовую. Казеин тут ещё довоенный, запасы большие, – говорит Люся. – Как видишь, его, оказывается, по нынешним временам и есть можно.

Действительно!

С обедом мы справляемся быстро. Возвращаемся в цех, и Люся ещё до гудка, возвещающего конец перерыва, успевает объяснить, что пыль здесь такая оттого, что колодочки для щёток шлифуют тут же наждаком, а вентиляции в цеху нет. Дым и вонь – от печи, где вывариваются уже готовые щётки, и от недавно налаженного тут же свечного производства. А ещё рядом с нами – помещение, где из костей вытачивают колодочки для щёток и пуговицы для нижнего белья. Кости вымачиваются в огромной, вонючей ванне – там с них выгнивают остатки мяса.

Считается, что это военное производство, но Люся меня утешает: лучше уж делать зубные щётки и пуговицы для солдатских подштанников, чем на каком-нибудь военном заводе в Германии снаряды, которые будут бить по своим.

К концу рабочего дня я успеваю выполнить чуть больше половины нормы, но Люся говорит, что для первого дня это ничего. Хотя я подозреваю, что добрую треть сделанного, наверное, забракуют. На проходной нас обыскивают – меня не очень тщательно, потому что при мне нет никакой сумки: так – похлопали по карманам – и всё.

По дороге Люся рассказывает, что её тоже устроил сюда Ефим Родионович, они соседи – вот почему её лицо показалось мне знакомым: я же там часто бывала! Вообще непонятно, как им тут удалось этот цех организовать: ведь немцам толку с него – как с козла молока! Производство, прямо говоря, пещерное, но опять-таки это Петр Петрович настоял. Немцы его очень ценят: он специалист первоклассный, другого такого нет, так что немцы-колбасники с ним считаются.

А ведь сколько людей этот цех от Германии спасает! Да не только от Германии – некоторых просто от смерти! Говорят, одна из женщин в цеху – еврейка. Если бы не эти двое – Петров и наш Ефим Родионович – лежать бы ей во рву за Тракторным.

Ну, а потом всё-таки – какой ни какой, но обед! А ещё, Люся говорит, иногда кости дают. Голье, конечно, кости, но какой-то навар от них всё-таки есть. А ещё иногда – склотину. Знаете, что такое склотина? Это если масло прогоркнет, его перетапливают: чистое топлёное масло снимают, а то, что остаётся – это и есть склотина. До войны её свиньям скармливали, а теперь это и для нас лакомство. Я-то её ещё не пробовала, но представляю.

Хорошо, что Люся недалеко от меня живёт: нам до самого моего дома вместе.

Вот так я постепенно пригреваюсь около неё – но всем остальным взрослым до меня дела нет. Я в цехе самая младшая и всем чужая, и то, что они говорят, мне иногда даже слушать неловко. Особенно одна такая – её Симой зовут. Она как начнёт – ну просто уши вянут! Хочется спрятаться в какой-то кокон, закрыться как мидия, глухими створками, чтобы отгородиться от душной

цеховой вони, от нечистых взрослых разговоров – и я про себя старательно вспоминаю какие-нибудь стихи – письмо Татьяны Онегину, или «Буря мглою небо кроет», «Выхожу один я на дорогу» – или просто бормочу возникающие откуда-то свои собственные стихи. И знаете – как-то помогает: я постепенно привыкаю.

И вдруг, в этом постепенном отупении – встряска, дикая, безобразная встряска, холодный ужас! По гудку, возвещающему конец работы, мы выходим во двор – и вдруг, перед главной проходной, – виселица! Худое, безжизненное тело, неестественно вытянутая шея, прямой затылок – и незнакомое мёртвое лицо. На груди спецовки – картонка с какой-то надписью. Я не вижу, я же близорукая, – но какая разница, что там написано!.. Кто-то сзади говорит: это рабочий из жирового цеха, он вроде бы кусок сала украл...

На крыльцо конторы, похлёстывая хлыстиком по сапогу, с недоброй ухмылкой выходит Кюхлер, военный начальник Комбината. Склонив голову на правое плечо, он с интересом наблюдает, как реагируют на событие вытекающие из цехов рабочие. Будь ты проклят, зверюга!

На следующее утро, перед работой в цех, как обычно, заходит Ефим Родионович. Необычным, сиплым голосом он говорит:

– Приказано довести до вашего сведения... Да что тут говорить – вы сами всё видели...

Голос его срывается, и, махнув рукой, он, не оглядываясь, выходит из цеха. Цех оглушено молчит.

Три дня около виселицы маячил Вальтер Аузер, начальник охраны – русский немец в немецкой шинели. Повешенного не снимали три дня – в назидание и предупреждение остальным рабочим. Три дня Пётр Петрович ходил с отвердевшим, потемневшим лицом: гражданский начальник производства не властен над военной охраной! Представляю, что у него на душе творилось!

Нас, слава Богу, военная охрана особым вниманием не достаивала: красть в нашем цеху нечего – вся наша продукция несъедобна. Тем не менее, тень повешенного маячила передо мной неотступно – даже во сне. Говорили, что у этого бедняги осталось дома двое детей, жена и старуха-мать. Он был единственным кормильцем – как им теперь выжить?

Овладеть немудрёной технологией вязания зубных

щёток мне удаётся без особого труда: к концу второй недели я уже выполняла норму почти без брака – так что мне уже стали начислять зарплату. Платили оккупационными марками. По слухам, эта валюта имела хождение только на оккупированной территории: в самой Германии она была недействительна.

На базаре их принимали неохотно – предпочитали советские рубли, и, хотя это создавало значительные затруднения, с другой стороны, это подогревало в сердце надежду, что им, этим маркам, недолго ходить по нашей земле!

Наступило лето, и с каждым днём в цеху становилось всё труднее дышать: по-прежнему топилась печь, в огромном котле вываривались щётки и по-прежнему плавился стеарин или парафин для свечей. С утра до вечера не затихала грызня: сидевшие близко от печи требовали открыть окна, сидевшие у окон страдали от сквозняков. Женщины кашляли, задыхались, ссорились и плакали. Ефим Родионович уговаривал: потерпите, мы что-нибудь придумаем! Я, к сожалению, этого не дождалась.

Однажды ночью я проснулась задолго до гудка: было трудно и больно дышать. В ещё замутнённом просонками сознании настойчиво вертелось: мне плохо, мне очень плохо – поэтому сегодня надо выйти раньше, а то я не доплетусь вовремя. Доплелась, но в цеху мне стало совсем невмоготу. И тут, – кажется, впервые за всё время – на меня обратили внимание остальные женщины – доброе, материнское внимание:

– Что с тобой, маленькая?

Если бы я знала! Наверное, сердце. Больно дышать – но ведь лёгкие, кажется, не болят?

Время идёт, работа стоит – но никто не думает о выработке: все столпились вокруг меня, и лица у них такие добрые, такие тревожные, что у меня не хватает духу сказать им, что так мне уже совсем нечем дышать!

Откуда-то вдруг появляется Петров – по-моему, это Люся привела! Он что-то говорит, но я уже плохо понимаю, что надо отвечать, если тебя о чём-то спрашивает начальник производства. Зато он, видимо, сам всё понимает и что-то говорит Люсе, и, ещё раз оглянувшись на меня, быстро уходит. А Сима – та самая противная Сима – заботливо протягивает мне кружку: на, попей!

Я глотаю холодную, чем-то пахнущую воду –

становится вроде бы немножко легче, и только теперь мне хочется заплакать – не от боли, а от их доброты!

Снова возникает Люся:

– Встать можешь? Пойдём, Пётр Петрович дал бричку.

Какую бричку, причём тут бричка? Или это уже бред?

– Петров дал свою бричку, повезём тебя к врачу.

Кто-то накидывает мне на плечи чей-то жакет или пиджак, и я соображаю: да, правильно, – меня ведь знобит...

Люся подсаживает меня и сама садится со мной, и первый раз в жизни я еду на бричке по улицам города. Копыта легко цокают по мостовой: «топ, топ, топ, скачет конь в галоп, а на кОне князь...» Да, – вот именно! Тут уж точно «князь»!

Доктор оказался седой, сухонький, очень похожий на какого-то писателя – не помню какого. Люся вручает ему какую-то записку – наверное, от Петра Петровича. Он читает ее медленно, поглядывая время от времени на меня, как будто проверяет, то ли ему доставили, что следовало. Потом аккуратно сворачивает ее и обращается к Люсе:

– Температуру мерили?

Люся качает головой

Он сует мне под мышку холодную стеклянную палочку.

Наверное, моя температура ему не нравится: он хмурит седые, кустистые брови и, сердито сопя, начинает выстукивать меня костяшками пальцев и неодобрительно слушать через холодную коричневую дудочку, что там делается у меня внутри. Потом, непонятно зачем, заставляет меня произнести «тридцать три» и ещё раз «тридцать три» – издевается, что ли? Так не может этого быть – может, это у меня бред? Нет – он ласково говорит мне: «Одевайся» – и садится что-то писать. Пишет он долго, много – целую страницу, макая перо в старинную мраморную чернильницу, промокает написанное массивным пресс-папье и отдает Люсе. А затем, неожиданно – как будто на этом деловая, официальная часть нашего визита кончается, – совсем по-домашнему проводит сухой старческой рукой по моим волосам и говорит: «Ничего, малыш! Даст Бог, обойдётся».

И мы уходим. И бричка меня, как важную барыню, отвозит домой. Люся говорит, так ей наказал Петров.

А как же работа? Вдруг меня за негодностью уволят?

Но Люся говорит, Пётр Петрович велел, чтобы я лежала, пока не спадёт температура. Всё, что надо, доктор ему написал.

– Завтра видно будет, – говорит Люся, – а пока лежи. Завтра я зайду.

И она приходит. Слушайте, она не просто приходит: она приносит мне в судочках обед – даже больше, чем обычно дают в столовой! Говорит, это Петров распорядился.

– Только ты судочки освободи – это с кухни. Я тебе завтра в своей кастрюльке принесу.

Вот такая она, Люся! Вот такой Пётр Петрович!

– Ну да, это мне Петр Петрович поручил. И ещё, я совсем забыла: тут он тебе порошки передал, три раза в день – это доктор прописал.

Вы представляете?

Целую неделю она каждый день приносит мне обед и даже – один раз – целую банку жирной сколотины. Я такой вообще никогда не видела! Там пальца на три масла!

Понемножку мне становится легче, и я выхожу на работу, но там меня ждёт неожиданность: Ефим Родионович говорит, что в цеху я больше не работаю. У меня душа уходит в пятки: значит, таки уволили?

– Да нет, – успокаивает меня Ефим Родионович, – не пугайся. Переводят тебя. Нельзя тебе тут работать. Иди в контору – там тебе скажут.

У меня начинает мелко дрожать что-то внутри: а вдруг всё-таки уволили? Слава Богу, я натыкаюсь на Петра Петровича прямо в дверях конторы.

– А, пришла, – говорит он деловито, – давай, заходи

Кабинет у него маленький, строго опрятный. Пётр Петрович пододвигает мне стул – надо же! – и говорит:

– Поговорим.

Всё это непонятно и неожиданно, но я стараюсь себя успокоить: ну не может быть, чтобы это предвещало что-то плохое! Он ведь даже стул пододвинул!

– Понимаешь, – говорит Пётр Петрович раздумчиво, – понимаешь, доктор написал, у тебя там с лёгкими неполадки. Плеврит у тебя – просквозило, может, в цеху... Ну, словом, нельзя тебе в рого-костяном. В колбасный и в жировой тоже нельзя, только по другой причине. Тебе на свежем воздухе надо. Вот я и подумал: мы тебя курьером устроим. Согласна?

Честно говоря, я смутно представляю, что такое

курьер. Я сумею?

– Да ничего там уметь не надо: курьер – это старший куда пошлют. Телефонов у нас в цехах нет, территория большая – будешь у нас вместо телефона. Вызвать кого-то, или там распоряжение какое-то передать – это твоя обязанность: ноги в руки – и пошла! А место твое постоянное будет здесь, в конторе, – там, где секретарша и машинистка сидят

Итак, должность моя теперь *Laufmadchen*, ляуфмедьхен – девочка на побегушках. Не очень почтенно, зато, как говорится, не пыльно – в прямом смысле. Место моё – в маленькой комнатке, где сидят друг против друга две абсолютно разные женщины: секретарша Анна Николаевна, безукоризненно элегантная, надменная и речью и осанкой, снежно, изысканно седая – и Лариса Антоновна, машинистка, молчаливая, смуглая, темноволосая, с тёмными печальными глазами. Третьего стула в комнате нет, поэтому я сижу на громоздком коричневом сейфе, стоящем у двери. Сейф металлический, холодный, поэтому на нём какая-то подстилочка. Не очень удобно, конечно, но мне всё равно – подолгу сидеть не приходится.

Как ко мне относятся? Да можно сказать – никак. Надо вызвать начальника убойного цеха – бегу в убойный; начальника нет на месте, пошёл в жировой – бегу за ним в жировой. Эти цеха – не чета рогокостяному: тот по сравнению с ними совсем доисторический. Но в этих всё время шастают немцы – надзирают. В убойном очень страшно: коровы чувствуют, что их на убой гонят – режут, упираются, но самое страшное, пожалуй, не это. Мастер-немец, мордастый и краснорожий, каждый раз подставляет под струю сияющую алюминиевую кружку и пьёт свежую, горячую кровь. Я, когда в первый раз это увидела, еле успела выбежать: едва удалось сдержать рвоту до дверей! Мне потом рассказывали – он всегда свежую кровь пьёт. И другие немцы иногда заходят – у них это в охотку! Они считают, это полезно. И в паёк им выдают брикеттики присоленного сырого фарша со специями. Представляете – едят!

Это уже мне во дворовой уборной женщины рассказывали – в цехах общаться нельзя, немцы не дают. Женская уборная – единственное место, куда охрана не заглядывает. Не додумались ещё военных немцев завести!

Как-то на выходе встретила с Люсей. Она мне

объяснила: доктор Петру Петровичу написал, что с лёгкими у меня беда. Если останусь в рого-костяном, я долго не протяну, а в остальных – убойном, жировом и колбасном – надо проходить медкомиссию. Медкомиссия меня с моими лёгкими не пропустит. И Пётр Петрович придумал: убедил Кюхлера, что ему для связи с цехами необходим курьер. Вот так – мне во спасение – возникла моя высокая должность! До меня обязанности «девочки на побегушках» исполняла по совместительству бабка-уборщица.

Не удивительно, что мы его любили. Нет, подумайте – вы когда-нибудь слышали, чтобы ВСЕ любили своего начальника? Но мы действительно все его любили – каждая по-своему, издали, любила в нём то, чего так не хватало тогда в нашей мучительной жизни. Он был олицетворением главного, чем изначально, издревле призван быть Мужчина: кормильцем и защитником рода! А для такого, как я, неоперившегося детёныша – ещё и мудрым, всемогущим решателем каждодневно нависавших надо мной грозных, неразрешимых задач. Если хотите, для всех этих измученных женщин он был вроде бы Государством или самим Господом Богом, который издали – очень издали, свыше – определяет и направляет твою судьбу.

Но ведь он работал на врагов? Ну да, работал – но при этом он же столько народу спасал – всех этих женщин, меня? Очень всё непонятно в нашей жизни!

Интересно – как к нему относились немцы? С ним считались – просто не могли иначе. Такой специалист! Но это по делу – а внутри себя, как? Ведь они чувствовали в нём силу – не могли не чувствовать. А сила – это опасно!

А мы ему верили. Я верила.

Между тем земля вокруг содрогалась – шла война. В кинотеатре (бывший «Рот фронт») на углу Плехановской шёл фильм «Падение Сталинграда»: на рекламном щите – пылающие развалины и грязный, оборванный красноармеец с поднятыми руками и чёрным кричащим ртом. Сдаётся!

В это нельзя было поверить – в тебе ещё звучало: «Не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды!» Ведь если поверить, тогда и жить зачем? Нет, если бы Сталинград действительно пал, немцы вели бы себя иначе!

Моя новая «должность» несомненно имела свои преимущества. Во-первых, и в малой комнатухе, где

угол с коричневым сейфом у двери стал моей законной территорией, и в большущем, размашистом хозяйственном дворе, по которому меня носило «на посылаках», было гораздо легче дышать, чем в цеху; вторых, теперь, как ни странно, мне было не так одиноко. Там, в цеху, у меня была только Люся, да ещё – издали, изредка – Ефим Родионович. А здесь, теперь мы всё чаще и всё открытее общались с Ларисой Антоновной – если, конечно, в комнате не было Анны Николаевны. Мы обе её боялись: она была вхожа к немецкому начальству! А муж Ларисы, оказывается, был красным командиром – только от него почти с самого начала войны не было никаких известий. Вот почему она часто приходит на работу с красными глазами

Но самое главное – вот не смейтесь и не удивляйтесь! – самое главное это была дворовая уборная между цехами. Там можно услышать последние новости, поделиться услышанным с кем-то, кому доверяешь; можно вытащить и показать переписанную на вырванном из школьной тетрадки клочке листовку, спрятанную в драных бурках между слоями шинельного сукна. Знаете, как это делается? Накручиваешь листовку на карандаш и засовываешь между строчек, потом – раз! Карандаш выдёргиваешь – а листовка там! Кому придёт в голову осматривать драные бурки у какой-то пацанки? Это я сама придумала – и, поверьте, ни разу не попалась. Тут ещё один секрет: меня как ляуфмедьхен иногда посылали и за пределы территории, так что мне случалось входить и выходить в рабочее время, но на проходной меня не обыскивали: ведь курьеру нечего красть и, стало быть, нечего выносить!

Некоторые караульные даже как будто бы относились ко мне с некоторой симпатией: может быть, у них у самих дома были дети?

Прошёл фильм «Падение Сталинграда»; появились портреты Паулюса с сообщением, что ему присвоено звание фельдмаршала – и вдруг те же портреты, то же лицо – но уже в траурной рамке! Что-то неуловимое носилось в воздухе: казалось, у немцев даже походка как-то изменилась: твёрдый, чеканный шаг подкованных сапог стал каким-то дробным, судорожно-суетливым – или мне просто хотелось думать, что это так?

На обширной территории комбината разместилась эсэсовская часть под названием «Гросс Дойчланд» –

«Великая Германия». Говорили, что им завезли целый вагон спиртного. Напившись, они затевали стрельбу и кричали, что Харьков – это второй Сталинград, а они – шестая армия. Жители Качановки, частного сектора рядом с комбинатом, рассказывали, что были случаи, когда пьяные эсэсовцы врываются в дома и убивали мальчиков, даже совсем маленьких, вопя: «Всё равно вырастет – будет солдатом!»

В женской дворовой уборной распространились самые волнующие новости! Лариса Антоновна светилась надеждой. Она была уверена, что наступил перелом, твердила, чтобы я по возможности старалась обходить ту сторону, где размещались эсэсовцы, и заботливо находила мне всяческую работу в конторе или за пределами комбината. В тот день она послала меня в **Arbeitsbehörde**, на биржу труда, отнести восемь паспортов – наверное, недавно поступивших – и получить взамен восемь «собачих карток». Идти было далеко, на бирже пришлось ещё постоять в очереди, и я боялась, что не успею вернуться к обеду. Хорошо, если Лариса догадается взять для меня – а если нет? Дома ведь шаром покати – есть нечего!

Вспомнилось, как, когда я болела, Люся – спасибо Петру Петровичу! – носила мне обед. И тут – надо же! – я увидела впереди знакомую фигуру. Сообразила: он же тут недалеко живёт – наверное, домой ходил обедать. Если куда далеко нужно, так ему брочку закладывают – а это ведь под боком!

В последнее время на территории он что-то мне не встречался, и я обрадовалась: говорю же, мы все его любили! Но то ведь издали, а тут – вот он! Рядом!

Подстраиваясь под его шаг, я стала делиться с ним радостными новостями – всем, что, как воробей, по крошкам собирали в те дни: говорят, у наших появилось какое-то новое оружие; говорят, наши уже близко, наступают – поэтому эсэсовцы на комбинате такие злые...

Кто говорит, Пётр Петрович не спрашивал. Казалось, он понимал: ему этого знать не надо, он не должен этого знать!

И тут только я увидела, как сильно он изменился за то время, что я его не видела: сильное, красивое лицо его осунулось, твёрдые скулы обтянула бледная, сухая кожа и смуглый румянец сменился бледной желтизной. Он слушал – и смутно чему-то улыбался: то ли своим мыслям,

то ли моим словам, в такт шагам кивая головой.

Перед центральной проходной он вдруг остановился, развернул меня лицом к себе, положив на плечи тяжелые, сильные руки, и, глядя мне в глаза, произнёс, неведомо к чему, неожиданные, странные слова: «Живи, девочка!»

Чему-то твёрдо кивнул – и толкнул дверь проходной. Часовой почтительно козырнул и, даже не взглянув на мой аусвайс, пропустил меня вслед за ним.

Больше я его не видела.

Через несколько дней по комбинату разнёсся нелепый, чудовищный слух: Пётр Петрович умер!

Одни говорили, что у него оказался рак печени, другие, оглядываясь, говорили, что он при отступлении вроде бы был оставлен здесь со спецзаданием, которого не выполнил, и покончил с собой, приняв крысиный яд, чтобы с приходом наших не нести за это ответственность: Я не знаю, что было (и было ли действительно?) ему поручено. Конечно, он мог совершить мощную диверсию: ведь он был начальником производства большого комбината и одной только продукцией жирового и колбасного цехов мог, наверное, отравить целую армию! Он этого не сделал. И он работал на немцев.

Но сколько людей он спас, как меня! Что перевесит на Суде Совесть?

Теперь я понимаю: тогда, прощаясь со мной у центральной проходной, он уже видел конец своего пути, знал, каким он будет. Знал – и сказал мне: «Живи, девочка!»

Прошло совсем немного времени – яростного, вихревого времени, и той же зимой ещё два мудрых, взрослых человека порознь, при разных обстоятельствах повторили мне те же самые слова: «Живи, девочка!»

И я живу – я долго живу, повинуюсь их завету: ведь я ещё столько должна написать, столько рассказать – это мой долг перед ними!

И всё-таки – отчего он умер?

КАСТЕЛЛО ИЛИ МОЁ ОТВЕРГНУТОЕ БУДУЩЕЕ

Это было в голодное и прекрасное послевоенное время, время счастливой эйфории, которое так же, как совсем ещё недавно военное время, требует своего летописца.

Отступила четыре года висевшая над тобой ежедневная угроза смерти. Открывались неожиданные,

неимоверные перспективы предстоящего созидания по принципу «голь на выдумки хитра», когда, отесняя привычное чувство голода физического, нас захлёстывало жадное и высокое чувство голода духовного.

Мы весело и упрямо разбирали развалины, сортируя кирпичи: этот, целый, ещё сгодится на стройку, вот эта половинка – на угол, а тот, битый – на бетон. Правда, случалось, что под обломками вдруг обнаруживались чьи-то останки – это печаливало, но не надолго: печалиться было некогда – надо было торопиться возродить!

В самом начале Пушкинской, там, где сейчас (уже который год!) высоченный забор с надписью, обещающей, что здесь будет элитный торгово-развлекательный центр, закрывает от прохожих оползающий котлован, был тогда маленький двухэтажный домик – по слухам, один из первых в городе каменных домов., Часть первого этажа была выбита прямым попаданием снаряда; над зияющей дырой нависал подпёртый деревянными столбами чудом уцелевший второй этаж. В нём жили – в окне нахально торчала железная труба «буржуйки»! Входом в этот скворешник служила бывшая балконная дверь, к которой надо было подниматься по сколоченной изобретательными жильцами отчаянной деревянной «драбыне». Хотите – верьте, хотите – нет, но эта изысканная архитектурная деталь была функциональна: там действительно жили люди – жили упрямой верой в обязательно счастливое Завтра!

Фасад нашего института был на удивление цел, на нём уцелел даже номер здания – 18, но на месте двадцатого и двадцать второго зияла кровавой кирпичной раной огромная дыра. Эти развалины мы разбирали на субботниках. За нашей работой обычно надзидала одна из «англичанок» – Полина Хуторянская. У нас она не преподавала, и мы поначалу недоумевали: почему на субботники с нами ходит именно она? Но скоро стало ясно: здесь она «и замужем, и дома» – оказывается, она жила в том же дворе, позади развалин.

Там же жил, но, слава Богу, у нас не преподавал и с нами не работал очень противный мелкий, чёрненький человечек, которого мы издали, неведомо почему, прозвали Иисусом – он вроде бы что-то преподавал на старших курсах.

Лекции по языкознанию нам читал знаменитый профессор Финкель. По учебнику Финкеля и Баженова русский язык изучали школяры чуть ли не всего Советского Союза! За глаза мы так его и звали: тот Финкель, который Баженов – потому, что курс иностранной литературы нам читал ещё один Финкель, но того мы звали Финкель–маленький. В наших глазах они были несоизмеримы, потому что тот, «который Баженов», был к тому же одним из четырёх авторов гениально-весёлого «Парнаса дыбом», и не только!

Человек, который вслед за Маршаком и Щепкиной-Куперник перевёл все сонеты Шекспира, пришёл к нам в настывший актовый зал, где читались общие лекции, в стоптанных кирзачах и выдавшей вида бурой солдатской шинели, явно не по росту. Мы слушали его в состоянии лёгкого обалдения, едва успевая конспектировать – так ёмко, так непривычно изящно по мысли было то, что разворачивалось перед нами. А когда прозвенел звонок, немолодой, неуставно сутулящийся рядовой сказал, интеллигентно, несусветно картавя: «А теперь – а теперь, разрешите, я закурю» – и, задрвав полу шинели, извлёк из кармана замызганный кисет и многожды свёрнутую газету, со знанием дела скрутил «козью ножку» и блаженно затянулся махорочным дымом. С этого дня в сознании всего нашего курса Александр Моисеевич Финкель занимал совершенно особое место. А что касается Финкеля-маленького, то его через некоторое время как-то незаметно сменил удивительно похожий на самурая всем складом лица, зубами, глазами и огромными роговыми очками Марк Эммануилович Рабинович, в когда-то белом командирском полушубке.

Мы сидели на лекциях в пальто, шинелях и телогрейках; в конце третьего этажа в стене коридора зияла сквозная дыра, оттуда дуло, и к концу второй смены, когда небо темнело, видны были звёзды. Зимой счастливы-владельцы авторучек время от времени совали их, как термометры, под мышку, потому что чернила, бывало, замерзали. Было холодно. Было очень голодно. Во дворе института, в облезлом флигельке у нас был ОРС – отдел рабочего снабжения, которым заведовал шустрый, маленький, разительно похожий на хомячка человечек по фамилии Горшунский. Там мы получали по карточкам хлеб (студентам полагалась рабочая карточка); иногда – какой-то случайный паёк, а

временами – выделяемые профкомом самым нуждающимся вещи – кому обувь, кому какую-то одежду.

Столовой в институте не было. В буфете на втором этаже можно было на большой перемене взять порцию винегрета с прозрачным ломтиком хлеба и стакан чая. На котлету с макаронами мы с подружкой Витькой старались не смотреть: котлета была нам не по карману. Зато в тёплые месяцы можно было роскошно пообедать на улице: взять за шесть копеек французскую булочку и порцию восхитительного молочного мороженого за двенадцать копеек. Мороженщик вкладывал в металлическую чашечку с ручкой-поршнем круглую вафлю, затем большой ложкой плотно накладывал – нет, вмазывал в чашку мороженое, накрывал второй круглой вафлей, выдавливал поршнем – и вот она у тебя в руке, аккуратная круглая вкусность! Оставалось нырнуть в какую-нибудь подворотню – неприлично же лизать его на улице! – и лижи свой сладкий обед за восемнадцать копеек в полное удовольствие!

Вечером – если удавалось выкроить свободный вечерок – мы бегали в городской парк на танцы, Вход в парк был тогда платный – целых тридцать копеек! – поэтому мы лазили через высокий кованый забор. Наши верные рыцари подсаживали своих дам – это было смешно и весело, и ничуть не зазорно, потому что в те времена человеческое достоинство определялось вовсе не деньгами. Зато в аллеях парка, то тут, то там, пели аккордеоны и кружились пары. Аккордеонисты играли бесплатно, «за так» – наградой для них был восторг танцующих. Случалось, кто-нибудь запевал – песню подхватывали, и расходились по домам, прощаясь – до следующей встречи! – с совсем незнакомыми, но всё равно родными людьми.

Денег на кино, как правило, не было, но были летние кинотеатры, где можно было следить за событиями на экране, сидя на ограде, а то и на дереве: если что, тебе помогали взобраться такие же безденежные «грачи», которым удалось уместиться пораньше. Насколько мне помнится, никто нас оттуда не сгонял: нас понимали – денег нет, а кино посмотреть хочется.

А иногда, когда удавалось сэкономить за счёт обеда, мы «шли в разгул»: покупали билеты в филармонию на самую что ни на есть галёрку и слушали Рихтера, Александровича, похожего на школьного учителя Керера

или нашу восходящую звезду, всеобщую любимицу Шурочку Лесникову. Акустика в нашей старой филармонии была волшебная, и даже на самых дальних, стоячих «входных» местах было слышно шелест страниц, переворачиваемых на пюпитре пианиста.

Иногда нам устраивали культпоходы в театр, иногда приглашали в институт именитых гостей: так, у нас выступал Сосюра, читал свои стихи Павло Тычина – кстати, брат его, Евгений, преподавал у нас «мову». Мы его нежно любили – в то время, пожалуй, даже больше, чем его знаменитого брата.

Гости выступали в актовом зале – там, где обычно читались общие лекции и проходили общие собрания. И вот однажды нам объявили, что в зале состоится встреча с Кастелло – учеником легендарного Вольфа Мессинга.

«На Кастелло» набился полный зал. Слава Вольфа Мессинга давно уже гремела по Союзу; Кастелло был внове – по крайней мере, для меня, – но это был Ученик Самого Вольфа Мессинга!

У нас уже начался курс психологии – читал его замечательный Петр Иванович Зинченко, «цыганский красавец», как его ревниво называли преподаватели-«язычники» за антрацитово-чёрные глаза и незыблемый авторитет среди студентов. В медленной, неспешной речи Петра Ивановича действительно было нечто завораживающее: терпеливо, но настойчиво он учил нас думать. Наверное, поэтому такие необъяснимые вещи, как передача мыслей на расстоянии, телепатия и телепортация, магнетически привлекали наши, еще не очень отягощённые знаниями, молодые, голодные умы.

Я опоздала, зал был полон, но девчонки потеснились, и мне досталось место в центре зала, у прохода. На сцене, за столами, накрытыми в разной степени вылинявшими кумачовыми скатертями, разместился весьма многочисленный президиум – соседки объяснили мне, что это жюри. Зачем оно там, было сначала непонятно – выяснилось, что это чтобы всё было по-честному (к честности происходящего тогда ещё относились серьёзно). Состав жюри был абсолютно разношерстный: зам нашего декана, начальник ОРСа Горшунский, Марк Эммануилович Рабинович, член профкома Ленка Плужникова, с французского факультета, лаборантка фонокабинета и другие, незнакомые читателю, лица. Незнакомых нам было двое: кряжистый мужчина с тяжёлым, широким лицом и хрупкая, неброская

женщина. Бойкая, разбитная секретарша директора, исполнявшая роль ведущей, представила гостей: это, оказывается, и был сам загадочный Кастелло со своей ассистенткой и, по совместительству, женой.

Голосом, неожиданно совсем обыкновенным, Кастелло сказал несколько слов о том, что называется телепатией, пообещал, что попытается показать нам это на деле – и приступил к делу!

Всё было захватывающе интересно и абсолютно непостижимо – честно говоря, поначалу во мне глухо шевельнулось бессовестное недоверие – потом я устыдилась: всё было непонятно, но честно! В привычном, обшарпанном зале, с этим широкоплечим, широколицым чужаком мы заглядывали в неожиданные, непонятные, но как-то реально – вот же оно! – существующие возможности человеческого, может быть, даже твоего, мозга. Чей это девиз – «познай самого себя!»? А-а, всё равно – но это стоящая задача!

Потом был объявлен перерыв, но перед этим нам предложили, чтобы каждый желающий написал на листочке, что он хочет чтобы Кастелло исполнил. Листочки надо было передать в жюри – члены жюри должны были отобрать к исполнению те предложения, которые им покажутся наиболее интересными.

Народ зашевелился. Кастелло, вместе с ассистенткой-женой, удалился из зала: в качестве артистической уборной им выделили для отдыха немецкий деканат. С бумагой в те дни было туго, тетрадки были роскошью, учебники – тоже. Конспекты писали на чём придется, кто во что горазд. Мне, например, сильно повезло: сосед с первого этажа, профессор Гейманович, пожертвовал мне каталоги каких-то довоенных зарубежных изданий: каталоги были толстые, на плотной цветной бумаге, и я конспектировала лекции между печатных строк. Для Кастелло я вырвала листочек из драгоценной тетрадки, которая использовалась исключительно для контрольных. Задание было предельно, гениально просто: Кастелло должен был снять с Рабиновича его массивные самурайские очки и надеть их на сидевшего рядом хомячка-Горшунского. Если бы вы их видели! Вы просто не представляете, как это должно было быть смешно!

Свёрнутый листок я передала по рядам.

Пока Кастелло где-то там отдыхал, жюри разбирало наши записочки, а мы обсуждали происходящее.

Некоторые разминали затёкшие ноги – ко мне подошла девчонка из параллельной группы и сказала:

– Знаешь, Ленке Плужниковой понравилась твоя записка: она вычеркнула твою фамилию и написала свою!

Я забыла сказать, что Кастелло просил подписывать записки: для выполнения задания ему понадобится помощь автора. Естественно, я возмущилась: какое она имела право, эта Ленка! Но времени выяснять отношения уже не было: прозвенел звонок, и Кастелло вошёл в зал.

Ведущая призвала к порядку гудящую аудиторию, показала нам стопочку отобранных записок. Мы стихли – и магическое действие началось. Ведущая вызывала на сцену автора очередной записки, Кастелло брал его за руку, как доктор, слушающий пульс, и отрывисто произносил: «Думайте!» И всё. Он так чётко, так быстро выполнял загаданное, что я даже начала отвлекаться. Вообще, должна признаться, я не очень внимательно следила за тем, как проходил второй сеанс: во мне всё ещё бурлило возмущение – какое она имела право? Хоть бы спросила!

И тут вдруг ведущая вызывает: Плужникова! Ленка – высокая, патлатая, с готовностью вскакивает и, сияя, подходит к Кастелло. Он, как всех, берёт её за руку и говорит: «Думайте!» А во мне всё возмущённо кипит: это же моя задумка! Это меня он должен держать за руку, мои мысли читать!

Кастелло топчется на месте, напряжённо мотает головой. И сердито повторяет «Да думайте же – вы что, думать не умеете?» Лицо его наливается свирепым синерозовым румянцем – и вдруг, с видимым облегчением, он рывком увлекает Ленку к лесенке, тащит её со сцены – Ленка упирается: ведь Рабинович и Горшунский сидят в президиуме! А я торжествую: ага, так тебе и надо! Так тебе и надо!

Раздражение Кастелло возрастает крещендо, он уже кричит: «Вы что – безмозглая, думать не можете?» – и, закусив губы, тащит её ко мне – да-да, ко мне, в мой проход между рядами! «Да нет же!» – вопит Ленка в отчаянии. Кастелло в ярости отшвыривает её руку и выбегает из зала. Скандал! Распорядитель выбегает за ним, и следом, оступаясь на высоких каблуках, выбегает ассистентка-жена. Зал недоумевают, я тихо злорадствую, и в то же время меня угрызает совесть: ведь получается

– я сорвала выступление Кастелло?

Но распорядитель вскоре возвращается и успокаивает зал: «Не волнуйтесь, все в порядке, выступление продолжается».

Действительно – через несколько минут супруги Кастелло возвращаются. Снова ведущая вызывает одного за другим авторов записок, стопочка худеет, всё идёт нормально, лицо Кастелло медленно бледнеет, обретая почти нормальный цвет. И я тоже остываю – ну подумаешь, великое дело! Ничего такого не случилось!

И тут – да что они, с ума сошли? – снова звучит фамилия «Плужникова», и Ленка снова поднимается с места. Я не знаю, кто настоял на этом – Ленка, или сам Кастелло, или его жена, – чтобы исправить испорченное впечатление, загладить промах – но снова напрягаюсь: это я, а не Ленка, автор записки, и он должен это понять!

Он слышит! Он рывком стаскивает сопротивляющуюся Ленку со сцены, тащит её по проходу, ко мне, У него бешено напряжённое лицо, я вижу, как у него багровеет шея и ещё – самое страшное! – как дрожат, как прыгают у него зрачки.

– Вот здесь. Здесь, – хрипло говорит он, нависая надо мной. – Здесь я должен сделать что-то. Встаньте, пожалуйста!

Я встаю, но ничего не успеваю сказать: Ленка вырывает у него руку и с криком: «Ничего подобного!» – отбегает к сцене.

У него странно оплывает и каменеет лицо, он с ненавистью беззвучно роняет ей что-то вслед – надо думать, не очень лестное, на секунду прикрывает светлыми ресницами бешеные глаза и – ах, молодец! – крупным, ровным шагом возвращается к сцене, легко, как нечто несущественное, отстранив по пути Ленку, и ровным голосом говорит: «Продолжим. Кто следующий?» Следующим подходит Толя Скорик, с готовностью закатывая левый рукав. Видимо, Толя думает достаточно чётко: Кастелло уверенными шагами идёт с ним в конец зала, берёт у кого-то из ребят портфель, достает из него книгу и решительно открывает ее, называя при этом страницу. Толя удовлетворённо кивает, зал взрывается аплодисментами, и дальше всё идёт как по маслу. Стопочка записок быстро худеет, вечер кончается, ведущая благодарит выступающих, те устало раскланиваются и выходят, а я, заново стерженая, направляюсь во имя справедливости сводить счёты с

Ленкой.

– Что за свинство, – выпаливаю я, – какое ты имеешь право присваивать себе чужие записки!

– А тебе какое дело? – парирует Ленка, обретая привычную твёрдость профсоюзного деятеля.

– Как это – какое? Ты мою фамилию вычеркнула, вписала свою, а мне, оказывается, и дела нет?

– погоди, так это твоя фамилия? Я же не знала! Я тебя только по имени... Да ты понимаешь, что получилось? Бежим к нему!

Мы бежим к нему, забыв о свинстве, окрылённые идеей – ещё неясной, но должно быть замечательной, заглядываем – но увидев Ленку, Кастелло кричит: «Вон отсюда!»

Я выдвигаюсь из-за Ленкиной спины и захлёбываясь восторгом, поспешно объясняю, что произошло:

– Вы понимаете, это же не промах, не провал – тут что-то другое! Это удача!

Вы не поверите, но Кастелло поднимается и пододвигает мне стул – и ассистентка-жена, с минуту поколебавшись, предлагает сесть и Ленке. Мы ещё раз, теперь уже подробно и почти спокойно, повторяем свой рассказ – но тут события пускаются в галоп! Кастелло хватается меня за рукав и кричит:

— Вы сами не понимаете – это же уникальный случай! За всю мою практику не было такого, чтобы импульс, посылаемый издалека, перекрывал непосредственный импульс! Ты понимаешь, девочка, что это значит? Это значит, что у тебя уникальные телепатические способности!

Ленка смотрит на меня почти со страхом. Я слушаю ошалело, смутно соображая, что предо мной открывается что-то неожиданное, непонятное, и неизвестно ещё, хорошо это или плохо.

Оставив в покое мой рукав, Кастелло хватается меня за руки – нет, не запястья, как во время представления, – он сжимает в горсти мои ладошки и, волнуясь, говорит:

– Слышишь, девочка, бросай свой институт! Будешь работать со мной! Перед нами такие перспективы, такие горизонты – ты не представляешь! Я сам ещё не очень представляю, но это уникальный случай!

Жена-ассистентка осторожно гладит меня по плечу и вступает мягким подголоском:

– Ты не думай, это не только выступления. Это открытия, горизонты науки! Такие перспективы!

Я окончательно ошалеваю – не от радостных перспектив, нет, – я представляю себя багровеющей, с прыгающими, как у него, зрачками, и тупо, отчаянно мотаю головой.

– Нет, ты не отказывайся, ты подумай, посоветуйся с родителями. Мы подождём.

Ленка смотрит на меня с жадной завистью, но зависть не злобная – просто удивлённая: бывает же такое!

За ними приходит машина. Пропуская вперед жену, Кастелло на секунду задерживается в дверях: «Так я не прощаюсь!»

Дома я рассказываю маме. Мама пугается: а как же мы? «Мы» – это мама и трое ее детей от второго брака. Овдовев, мама живёт в постоянном страхе: а вдруг я их оставлю, как она когда-то оставила меня? Она напрасно боится: я никогда их не оставлю – ведь я шестнадцать лет мечтала, чтобы у меня, как у всех, была мама. Только она этого не понимает, и поэтому всё равно боится...

Назавтра меня вызывают в деканат. Наша деканесса тоже, как Финкель, ходит ещё в шинели – только шинель у неё офицерская. Она строгая, но добрая, поэтому спрашивает меня с удивлением: «Ты что там натворила? За что тебя директор вызывает?» Я не знаю, что я натворила – что я вообще могла натворить?

У директора я ни разу не была – ну, видала, конечно, не раз, но чтобы вызывали, такого не было.

– Ну, вот, – говорит Иван Фёдорович, – тут такое дело...

Оказывается, из гостиницы «Интурист» ему звонил Кастелло.

– Я, конечно, обязан тебе передать, но что тебе посоветовать, я не знаю. Решай сама. Перспектива тут, прямо скажем, неоглядная, но, с другой стороны, какая-то неопределённая. Непривычная перспектива.

– Не могу я, Николай Фёдорович, мама у меня, и дети мамины... Не могу я их бросить!

– Ну, смотри – дело твоё. Они ждут тебя в «Интуристе», номер шестнадцатый. Поезд у них сегодня вечером, так что можешь уйти с лекций.

В «Интурист» я не пошла. Вечером посмотрела на часы: через полчаса отходит их поезд. Ну и ладно! Решила – нет, и всё тут!

Назавтра – снова в деканат. Ну, думаю – это за Минку Бутылову. Вечно эта фифа прогуливает, а староста отдувайся!

Мысленно чертыхнувшись, открываю дверь: сейчас

мне Ирина Александровна за Минку задаст – мало не покажется! Но навстречу мне поднимается бледная, усталая женщина – ассистентка-жена. Они же должны были уехать, вчера ещё!

– Выслушай меня, девочка, – негромко, мягко говорит она – Мне рассказали: ты учишься и работаешь, содержишь семью. Я тебя понимаю. Но пойми и ты меня. Тебе представляется редкая возможность устроить свою жизнь.

Наверное, это так. Наверное, такой возможности у меня больше не будет – но я с ужасом вспоминаю багровое лицо и прыгающие зрачки гастролёра – и мне становится неважно.

Торопливо – видно, боясь, как бы я не поспешила с ответом, женщина частит:

– Мы должны были вчера уехать, но ты не пришла, и мы сдали билеты.

Пойми: то, что вчера случилось, просто невероятно! Муж говорит, за всю его практику такого не было. Он же не фокусник – он учёный, каких мало. Позавчера его пригласили на вашу Сабурку – там собрались ваши профессора, академики – психологи, психиатры, невропатологи и физиологи. Он демонстрировал им силу и возможности человеческого интеллекта. Когда он остановил своё сердце, один из профессоров просто упал в обморок – испугался! Это не трюки, это большая работа и сложная наука, понимаешь?

Я вроде бы понимаю – я верю ей, но у меня перед глазами багровое лицо, дрожащие зрачки – и я судорожно мотаю головой.

Она трогает мои руки и как-то просительно, снизу вверх, заглядывает в мои глаза:

– Я понимаю – мне объяснили: на твоих плечах вся семья... Ты не беспокойся: ты будешь учиться, мы тебе квартиру снимем – а матери ты будешь деньги посылать, гораздо больше твоей стипендии...

Куда там! Я отчаянно мотаю головой – мне кажется, голова моя мотается по собственной инициативе: нет, нет, нет!

Женщина устало поднимается и говорит:

– Ты подумай, ты хорошенько подумай. Мы подождём ещё три дня. Посоветуйся с мамой, ещё с кем-нибудь... Ты пойми: ты же будешь обеспечена на всю жизнь. Он говорит, ты необычайное явление, такого ещё не было. Это открытие, окно в науку, в какие-то новые

возможности...

Господи, я всё это понимаю, или кажется, что понимаю, но я ничего не могу с собой поделаться – вернее, не с собой, а с этой упрямой головой, которая отчаянно, упрямо дёргается влево-вправо, влево-вправо: нет, нет, нет!

– Ну, хорошо, я пойду, но ты всё-таки подумай, прошу тебя, – почти беззвучно, на выдохе произносит женщина – и пальцы её без надежды обнимают дверную ручку. Низко опустив голову, она выходит, и я успеваю заметить, какая у неё слабая, нежная шея...

Дверь тихо, нерешительно закрывается.

Вечером я пересказываю маме наш разговор и чувствую, что она начинает колебаться. Ну да, конечно: в нашей несчастной, несытой жизни радужная перспектива перманентно растущего благополучия выглядит очень заманчиво, но голова – нет, она никак не согласна, и я просто не могу ей сопротивляться.

Следующие три дня мама мучается, терзаемая сомнениями. На четвёртый день мы обе наконец вздыхаем: с облегчением: всё! Конец терзаниям! Теперь, даже если эта упрямая голова смягчится, будет уже поздно. Синяя птица счастья упорхнула. Мы остаёмся у прежнего разбитого корыта, а золотая рыбка, вильнув хвостиком, скрывается в зелёной волне. Жизнь входит в обычную колею.

И через много лет я вспоминаю – нет, не с сожалением, а с бесполезным, но неукротимым любопытством: а как бы она сложилась, моя жизнь, если бы голова моя тогда уступчиво кивнула?

А вы как думаете?

УРОК ИСТОРИИ

Звонок раздался ясным, умытым утром. Голос был тоже ясный, умытый и как будто отдаленно знакомый. Женский.

– Доброе утро, Василий Михайлович. Это вас Нина Сергеевна беспокоит, Болотова – если вы меня еще помните. Вы у нас в школе выступали. Несколько раз – и один, и в десанте Союза писателей, помните?

Было. Хорошая школа, достойная. В вестибюле входящих встречали две мраморных мемориальных доски: «НАША ГОРДОСТЬ» – лучшие выпускники за все годы и «НАША ПАМЯТЬ» – имена учителей и учеников,

погибших в войну. И по обе стороны, перед занятиями – двое дежурных с повязками: пост №1, как в Сталинграде у Вечного Огня, у могилы Рубена Ибаррури. А эта Нина Сергеевна – помнится, завуч старших классов. Лицо, правда, как-то стёрлось из памяти, а вот силуэт, осанка, посадка головы – и на затылке тяжёлый узел каштановых, с проседью, волос...

– Рад вас слышать. Нина Сергеевна. Чему обязан?

– Очень хотелось бы пригласить вас на урок истории – вот если бы вы рассказали о нашем городе в годы войны! Ну, кто ещё так сумеет – ребята вас так слушают!

– Ребята у вас действительно славные. И школа вообще...

– Да нет, простите, я не сказала – я ведь ушла из школы...

– То есть как?

– И не говорите, очень больно было – я ведь там со студенческой скамьи, но, понимаете, дочка у меня болеет – на школьную зарплату не проживёшь. А тут мне предложили в частную гимназию. Гимназия дорогая, платят гораздо больше – пришлось со школой проститься. А здесь у них очень широко, с размахом задумано: воспитание будущей элиты! Не как-нибудь – целая пирамида: дошкольное обучение, затем гимназия, затем университет! Приходите – сами увидите.

– И как вам на новом месте?

– Да как вам сказать? Живётся, конечно, легче, а работать, пожалуй, трудней. Так придёте?

Пойти, что ли? Времени, конечно, жалко – целый день пропадёт, но ведь должен же кто-то детям правду о войне рассказывать? Ведь сейчас такое плетут – уши вянут! Как говорится, семь вёрст до небес – и всё лесом! А учебники!.. Нет, надо идти.

– Хорошо, Нина Сергеевна, – куда от вас денешься!

Гимназия от дома оказалась не так уж и далеко – вполне можно и пешком, только в этой стороне в последнее время как-то давно не случалось бывать. Удивительно, как меняется город!

Комплекс, в который входила гимназия, особой красотой архитектуры не отличался, но всё было прочно, солидно и целесообразно. Как-то неожиданно и неуместно всплыла в памяти строчка классика: «Для веселия планета наша мало оборудована...» Да, действительно, – оборудована для чего-то другого. Ну,

что же: времена меняются. Правда, оформление вестибюля повергло Василия Михайловича в некоторую оторопь. Вместо обычных коридоров и лестниц, расходящихся от входа, упираешься в какой-то турникет со странной загородкой – то ли будкой, то ли клеткой, в которой торчит грозный охранник в форме бог весть какого ведомства.

– Вы куда? Вы к кому? Документы ваши?

Так его еще нигде не встречали. В висках сердито и горячо застучало: повернуться и уйти, что ли?

– Нет, нет! Пропустите, пожалуйста, вот разрешение! Это к нам. Василий Михайлович, извините, ради Бога! Так получилось, задержались мы с разрешением. Вы нас простите! Вот это Александра Григорьевна, наша учительница истории.

Виски угомонились: Бог с ним, с охранником!

– Ну и КПП у вас! Как на военном объекте.

– Знаете, у нас такой контингент, – пролепетала Нина Сергеевна, необъяснимо покраснев.

Контингент? Ну-ну...

Поднялись по широкой, светлой лестнице – открылся широкий, светлый коридор. Очевидно, звонок уже был: коридор был пуст. По цепкой привычке прозаика – подмечать необычные подробности – Василий Михайлович отметил, как выразительно по-разному звучали шаги сопровождающих его женщин: чётко и нечасто – каблуки напряжённо стройной Нины Сергеевны, и мелко, хлопотно – Александры Григорьевны. Подумалось: украинское слово «дріботити» – как раз для неё, о такой походке. Куда выразительней, чем русское «семенит».

Женщины тревожно оглянулись на него – чему это гость ухмыляется? Вошли в класс. Про себя отметил: ученики не встали. Тут не встают. Нина Сергеевна звучным учительским голосом представила гостя со всеми его регалиями, званиями и премиями: класс с любопытством, оценивающе воззрится на вошедших.

До чего же всё-таки это коробит – когда о тебе в твоём присутствии говорят всякие высокие слова, а ты при этом молчишь, как истукан, и на тебя смотрят, оценивая: соразмерен ли ты такой рекомендации? А что делать – выступать с опровержением? Ну да ладно: это неизбежная неприятность. Ты зачем пришёл? Рассказать о городе? Так приступай к делу.

Девятый класс, уже взрослеющие ребята. Ты был

младше их, когда началась война. А каким был твой город?

Господи, что это за пугало сидит за первой партой справа? Мелированные – так, кажется, это называется? – в белую полоску, волосы, жирные ляжки, обтянутые короткими брюками, и вялые, ленивые губы, выпускающие белый пузырь жвачки прямо перед тобой! Мальчишка с крашеными волосами! В разных аудиториях доводилось выступать, но такого ещё не встречалось. И что непонятно: Александра Григорьевна, классный руководитель, проходит мимо, отворачиваясь, словно не замечая, и садится за заднюю парту. Боится она их, что ли? Или здесь это в порядке вещей?

Ну, хорошо – так каким был твой город перед войной? Что вы знаете о вашем городе, ребята?

Скучно пожимают плечами, потом один нерешительно говорит:

– Он был столицей. Передача такая была – «Первая столица».

Кто-то сзади вторгается:

– Не путай. Это после войны было.

Что – после войны? Город или передача? Ох, как издали придётся начинать!

Ну, ладно, не стоит их напрягать. «Начнём, пожалуй!».

И только здесь, сейчас – пожалуй, впервые – выстроились в сознании отрезки времени, года – и то, что тогда происходило. Кончилась гражданка, образовался Советский Союз – и всего через три года полуголодные, полураздетые люди построили на Старомосковской прекрасное здание огромной больницы, окружили её парком и назвали Второй Советской. На фасаде и сейчас значится – 1925. И тогда же, на бывшей городской свалке началось – вручную! – грандиозное по тем временам строительство, и вырос красавец Госпром, первое в Союзе высотное здание, и во всех букварях появилась страничка, где было написано: «В Харькове есть дом Госпром. В нём двенадцать этажей». Это было через семь лет после рождения СССР! А ещё через три года – тоже впервые в Союзе – физики УФТИ расщепили атом. Ещё совсем немного – и в парке, глядя на нарядную Сумскую, встал Тарас в окружении своих героев: самый большой и самый красивый в мире памятник поэту. А потом на площади Тевелева, бывшей Николаевской, в здании бывшего Дворянского Собрания, открылся первый в

мире Дворец Пионеров – настоящий дворец, где был свой театр, и кукольный театр, и балет, и клуб юных полярников, которым руководил замечательный детский писатель, полярник Трублаини, и литературная студия, и чего там только ещё не было! А в парке Горького встала парашютная вышка, и пролегли через парк в Померки рельсы первой детской железной дороги!

Да, постой – а как же ты забыл гигант ХТЗ, тоже первый в Союзе, и колонию Макаренко, и завод ФЭД, выпускавший знаменитую «лейку»?

Эх, да что вы знаете о вашем городе, ребята! Этот мальчишка с крашеными волосами...

Вот представьте себе: ведь после двух долгих войн, Первой мировой и гражданской, от рождения Союза до начала Великой Отечественной прошло всего-навсего девятнадцать лет, трудных, суровых – и был неурожай и голод тридцать второго-тридцать третьего, и борьба с неграмотностью, и недобрый тридцать седьмой, и битва на Хасане, Халхин-Гол и финская война, – и на этом фоне такой размах, такой полёт, такой тяжкий, но радостный самоотверженный труд! И несытое, но такое устремлённое «к сияющим вершинам» детство – твоё и страны! А потом год сорок первый – и кровавый рассвет самого длинного летнего дня.. И недолгие дни лихорадочного бодрячества: «...И на вражьей земле мы врага разобьём малой кровью, могучим ударом...» А потом – нежданная горечь сводок, похоронки, «щели» во дворах, затемнение, окопы и надолбы, дежурства на крышах и у ворот, бомбёжки, пожары, очереди за хлебом, за молоком – и тревога, тревога, тревога...

И потом – невероятное, неимоверное: чужие серо-зеленые мундиры на улицах твоего города, чужая гортанная речь, виселицы, *Übermenschen*, *Untermenschen*, «*Deutschland über Alles*»... И самое чудовищное, самое неправдоподобное – полицаи! Как будто такие же, как все, на вид нормальные – но с повязкой на рукаве, те, что по приказу чужаков вешали и расстреливали своих, тех, кто родился и вырос рядом с ними. Голод... Вы знаете, что такое голод? Нет, не путайте голод со здоровым аппетитом. По немецкой статистике, которая не склонна преувеличивать, в городе за время оккупации умерло от голода сто двадцать тысяч – это примерно каждый четвёртый. Так это только официально зарегистрированные – а безымянные трупы, заметённые снегом на улицах? В центре города умирать от голода

начали уже в первые месяцы – на окраинах, где были частные домики, какие-то садики, огородики, люди еще могли какое-то время как-то продержаться. Фронт стоял под Роганью, ни в город, ни из города – никуда. Недаром Харьков называют вторым Ленинградом – второй блокадной столицей. Когда стало ясно, что его не удержать, в городе открыли продуктовые склады. Последним объявлением штаба обороны было: запасайтесь продуктами и водой на шесть дней! Почему именно на шесть, никому не было понятно, но люди, что пошустрей, главное поняли: по улицам потянулись кто с чем – с тачками, вёдрами, мешками, с макаронки, с кондитерской фабрики, с овощебаз и железнодорожных пакгаузов. Некоторых это спасло; у многих, кто не успел припрятать, в первые же дни продукты отобрали оккупанты. Первой начала вымирать нерасторопная интеллигенция. А гетто? До сих пор никто не знает, сколько было расстреляно в Дробицком Яру. А сколько погибло по дороге на Станкострой, где были бараки гетто? Ведь туда только от центра километров двадцать – а с Холодной Горы, с Баварии? А зимний день короткий, а с четырёх часов комендантский час! Как одолеть такое расстояние с вещами, с детишками на руках? А старики, а калеки? И мороз...

Один немецкий врач-физиолог сделал открытие: голодная детская кровь является мощным биостимулятором для заживления ран: в городе был организован донорский детдом. В уютном месте, в Сокольниках. Там как раз неподалеку были госпитали Люфттваффе – военной авиации. Привилегированный род войск – элиту надо беречь!..

– Извините, – в дверь заглядывает дежурная с повязкой, – Ира Никитина, за тобой машина пришла. Водитель ждёт внизу.

– Ничего, подождёт, – роняет девица из среднего ряда.
– Он что – не знает, когда у нас уроки кончаются?

Порядочки, однако! Так о чём я? Ах да: о госпиталях. Так вот для этих госпиталей и брали кровь у детей: кого возили в госпиталь, для прямого переливания, у кого брали на месте – специальная машина приходила – консервировали. Детей держали впроголодь: ведь голодная кровь активнее! Кровь брали по-разному: когда порциями, когда – до конца. Трупы сначала закапывали в воронки от бомб и снарядов, потом спохватились: это ж добро пропадает! Биомасса! Стали на подсобное

хозяйство отвозить, на корм свиньям.

– И как свинкам – понравилось? – кокетливо смеясь, вопрошает Ира Никитина.

На соседних партах взрыв угодливого смеха. Как они могут!

Под левой лопаткой вспыхивает острая, жгучая боль. Нет-нет, надо перетерпеть. Пройдёт.

– Я что, разве что-то смешное сказал?

– Это она сказала. Сострила, – бросает лощёный брюнет – и оглядывается: какое произвёл впечатление? В награду ему всплескиваются редкие смешки.

Ну не все же они такие! Вон девочка за первой партой у дверей закусила губу, и глаза такие напряжённые, слушающие, и вон тот сероглазый, у окна... Надо говорить – хотя бы для этих двоих...

И он говорит – смиряя ладонью зреющую под пятым ребром боль, он говорит о том, как боролся вымиравший, но не покорённый Город. О том, как на площади перед бывшим Дворцом Пионеров вчерашняя школьница застрелила немецкого генерала; о том, что на груди повешенных часто можно было прочесть «Я ПОМОГАЛ ПАРТИЗНАМ». Он рассказывает, как в страшном концлагере на Холодной Горе военнопленный капитан медслужбы Седов сумел организовать подполье и наладить связь с замечательным хирургом, профессором Мещаниновым, как им удалось спасти и переправить к партизанам целую группу военнопленных; о том, как, рискуя жизнью, прятали евреев, как делились с ними последним куском. Он спешит рассказать, как в лютую зиму, без отопления, без света, без воды и без еды люди сохраняли мужество и веру, как шли на смерть, заслоня собой других.

Выплеснуть сдавившие горло горечь и гордость за Город, за этих людей этому крашеному уроду, этой Ире Никитиной – самодовольным ничтожествам, считающим, что они здесь хозяева – нет, не хозяева: ГОСПОДА!

Боль вырывается из-под ладони, бьёт в левое плечо, стекает до локтя – её уже не удержать, и, наверное, поэтому громко и повелительно звенит звонок: пора кончать!

Сил ещё хватает, чтобы не торопясь, спокойно поблагодарить за внимание, – да не было внимания, не обольщайся! – попрощаться и сделать восемь шагов до дверей.

Но за дверью надо ещё заставить себя подойти к окну, чтобы прислониться к стене, опереться на подоконник и, наконец, нашарить в кармане нитроглицерин.

Как-то шумно – как будто хлопая крыльями – подлетает Нина Сергеевна:

– Сердце?

Трудно размыкая цепенеющие губы, Василий Михайлович произносит:

– Какая же всё-таки это страшная болезнь...

– Стенокардия?

Он едва заметно – на большее уже нет сил – качает головой:

– Нет, сытость. Тупая, самодовольная сытость. Это же калеки, уроды!

За спиной Нины Сергеевны нерешительно маячит долговязая мальчишечья фигура. Тот самый, сероглазый.

– Чего тебе, Сорокин?

– Простите, Нина Сергеевна, я только хотел сказать спасибо.

Ну вот! Кажется, чуточку отпустило...

Александр РОМАНОВСКИЙ

ИЗ ПЕСЕННОГО АЛЬБОМА

Слова, как звуки, быстро исчезают,
Мелодию и свет ворует тишина.
В тумане прошлого они едва мерцают -
Их музыка уже нам не слышна!

И мысли и дела, – все в прошлом!
И в будущее их с собой не взять,
Величием мира или словом пошлым
Нам отчужденье с ними не разъять!

Одно из них лишь нас не оставляет.
Напоминая о себе все вновь и вновь.
Нас вдохновляет, лечит, окрыляет,
Ничем не заменимое – Любовь!

Уходи поскорей, говорливое лето
И веселый обман унеси наших уст.
Мы устали от очень яркого света
И тебя изучили уже наизусть!

Все твои безупречно-красивые виды
Станут символом наших ушедших побед!
А небесных просторов и моря обиды
Только легким загаром оставят свой след.

Поскорее вернись, молчаливая осень!
И верни разноцветье листвы и одежд!
И желанья наши на «семь» или «восемь»
Умножай и готовь нас для новых надежд!

Под дождём зазвучат золотистые рифмы,
Наши чуткие души опять запоют
И наполнят нас музыкой новые ритмы,
И брэнчанием струнным печаль в нас вольют!

Ну а женщине милой опять чуть всплакнется,
Незаметной росинкой щека заблестит,
Этой осенью снова любовь к ней вернется,
А пока она с нами пусть погрузит!

«ВСЕ В МИРЕ НЕ СЛУЧАЙНО...»

Забывать мне Богом не дано:
«Все в мире не случайно происходит!»,
Что жизнью вдруг обретено –
От Разума Вселенского исходит!

Он назначает странность встреч
И столкновенье разных судеб.
От злобы нас стремясь сберечь,
Взамен он милость нашу будит.

Мы утром просыпаемся в поту,
Не понимая, - что же с нами?
Вчера корабль стоял в порту,
Сегодня он гоним волнами.

Ведь накануне только мы
Свою беспечность одевали,
Сегодня выкрутасы тьмы
Одежды наши разорвали!

Своим бесстыдством, вопреки,
Они посмели спорить с Богом!
И жизнь – течение реки –
Хотели перекрыть порогом.

Но в благодатных жерновах
Вновь перемелятся ненастья,
И в бессознательных словах
Услышим возвращенье счастья!

МОЙ ПРИНЦИП

Я беспокойствами живу,
Но безнадежность – отвергаю.
По воле волн я не плыву,
Но и в случайность убегаю.

Не прячусь от чужих грехов,
Но в неприятьи настроений
Я от воздействия стихов
И прозы мучаюсь в волненьи.

Я не приемлю те слова,
Что мою душу не тревожат.
И сердце спит, и голова,
Коль не идет мороз по коже.

От безысходности горя,
Продрогший, суетой фатальной
В безмолвном свете фонаря
Я загораюсь моментально.

Мечтаю вспыхнуть от лучей
От повседневности надменной.
В мгновенной гордости речей
Я загораюсь постепенно.

И я сгораю вновь и вновь,
Но воскресаю постоянно.
Меня хранит всегда любовь
От музыкальной рифмы рьяной!

ДОРОГА – НАШЕ СПАСЕНЬЕ

Уезжаю не я, прощаясь,
Не меня провожаешь опять,
Это память, с нами общаясь,
Время вновь возвращает вспять!

А дорога – это спасенье.
Счастье наше всегда в пути.
Наши ветры – только весенние,
Нам по жизни с ними идти!

Если хочешь в дороге присниться -
Стук колёс поменяй на ночь!
Сердцу с сердцем легко объясниться –
И тоска заторопится прочь!

И гитарным, грустным бренчанием
Струнность жалоб можно унять.
Наших душ поднебесным венчанием
Нам друг друга надо обнять!

Не ищи в бесполезном стараньи
Отраженье чужих миров.
Наше счастье – в нашем страданьи.
Моя жизнь – твой надёжный кров!

Разбегутся вдруг вскоре печали,
И потухнет тоска в глазах,
Загорятся новые дали
В наших мыслях, словах и делах!

* * *

Моя душа свободна и легка
В полете мысли, действия и чувства.
Она на мир глядит издалека,
Рождая поэтическое буйство.

Мой разум несвободен и тяжёл:
Проблемы, хлопоты, решенья.
Он в круге суеты себя завел
И в грешном и в бессмысленном движеньи.

Мой разум равнодушен и жесток,
Успех и наслажденье – его мысли.
Циничный Запад, алчущий Восток
Серебролюбием его изгрызли.

Моя душа смеется и поет,
В молитве и любви рождая звуки,
В свой феерический восторженный полет
Берут меня и вдохновенья муки.

Но как же быть, и что же выбирать?
Мне с Разумом или с Душой остаться?
И в человеческой комедии играть
Иль в Небо потихонечку взбираться?

ЭТО ТАЙНА МОЯ И БОГА...

Знаешь ты: я приду один,
Оставляя где-то печали,
Помнишь ты: я – твой господин,
Что пришел из неведомой дали!

Знаешь ты: я – твой утренний снег,
Что прилег на оконном отливе,
Помнишь ты: я – твой жизненный бег,
В безрассудном любви порыве!

Знаешь ты: я – твой майский дождь,
Предвещающий летнее чудо,
Помнишь ты: я – твой признанный вождь,
Все, что надо, решать я буду!

Знаешь ты: я – твой вечный гонец,
По объятому мною пространству,
Помнишь ты: я – твой летний жнец,
В ниве трав из страстей постоянства!

Знаешь ты: в невозвратность я не уйду!
Почему? – Это тайна моя и Бога,
Позови: я – к тебе приду,
Нам с тобою – одна дорога!

* * *

Слышатся звонкие звуки случайные,
Вдруг прилетевшие из тишины.
Это, наверное, возглас отчаянья
Чьей-то доказанной вечной вины.

Может быть, это просто утаенная
От безголосья - музыка слов.
Может быть, чья-та душа неприкаянная
Ищет спасенья у добрых голов?

И в пустоте, обретенной временем,
Чей-то услышим душевный стон.
Станет спасением в дьявольской темени
Правильно выбранный песенный тон.

Наши стихи пусть лечебным снадобьем
Вылечат душу и тело в раз.
Ах, как поэту это так надобно
Господа, значит, исполнен указ!

Значит, не просто одарены рифмой мы,
Пульс вместо крови строкою дрожит.
Судьбы врачуем любовью и ритмами
Как же поэту без этого жить?

* * *

Ну, как же не остановиться,
Услышав утренний призыв,
От дел текущих не отбиться,
Окно для Музы приоткрыв?

Ну как же вдруг мне не проснуться,
Глаза души не распахнуть,
И снова в небо не вернуться,
И птицей звонкой не вспорхнуть?

Ах, как мне хочется не вспомнить
Забот навязчивых рассказ,
И как же сердцем не исполнить,
Мне Богом отданный наказ!

Что безоглядностью прощает,
Проникновением пьянит.
До бесконечности терзает,
И терпеливо нас хранит!

Ну, как же не остановиться,
Услышав утренний призыв,
От дел текущих не отбиться,
Окно для Музы приоткрыв?

Татьяна ШАХРАЙЧУК

«Как хорошо, когда Душа поёт...»

Он долго думал и решил:
Покрывшись панцирем железным,
Молчать, покуда хватит сил,
Казаться неприступно прежним.
Потом доспехи рыцарь снял,
Ступил на парусник
бумажный,
Но поздно – в небо
ушльывал
Журавлик маленький
и важный.
Блестели слёзы на лугах,
А тучи в вышине смеялись:
С мечтой на алых парусах
Поспешно
на Земле
прощались.

Как хорошо, когда Душа –
поет.
Как хорошо, когда она
живет.
Как хорошо, когда судьбе
назло
Поет Душа и в ней
светлым-светло.
Свечей березы тонкий силуэт
Рябины красной чёткий яркий
след.

Осенний воздух и осенний
свет,
И ты со мною,
Хоть и рядом нет.

Полететь бы к тебе белым
облаком,
Лучом солнечным приласкать.
Поселиться в снах
ясным полуднем,
Или тенью твоею стать.
Рядом быть и в горе, и в радости,
Боль твою от тебя отвести.
Не осталось и капли гордости, –
За тобой готова ползти.
Стать водой, утоляющей жажду,
Стать травой, по которой идёшь,
Я такую стану однажды,
Если ты меня позовешь.

Доброта та порядність –
не в моді.
В моді грубість,
простенький бруд.
Поруч йдуть по життєвій
дорозі
Грішний блазень
та Божий суд.

ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Люблю безумно, бурно, страстно,
Грохочуще-безмолвно и прекрасно!
Горю, пылаю, вся сгораю, –
И пеплом ярче звезд сияю!
Прикосновенье током прожигает,

В одно мгновенье жизнь вся пролетает!
И страшно, остро, нежно, весело!
И счастье мигом встреч принесено.
Смотрю в глаза твои, ищу ответ-
В них: «Да!»,- а я твержу: «Нет, нет!»
Не верю, страшно мне проверить,
И хочется, так хочется доверить!..
А ты все смотришь, требуешь ответа...
Душа в плену Восьмого Чуда света!

ОТКРОВЕННОЕ

Когда мне плохо, ухожу к природе,
В безлюдье парков, к свежести земли,
И долгие ненужные тревоги
Неслышным хором движутся вдали.
Под тяжестью небес серьезно-серых
И кружевом мятущихся ветвей
Слетает грусть и очищает смело
От дрязг мирских, несбывшихся страстей...
Сливаешься с простором необъятным
Величия спокойной красоты -
И станет все безудержно понятно,
И невозможно повернуть обратно
К обыденности грубой суеты.
И выше мир, и ярче и свободней,
И глуше боль пред мудростью простой,
И нет меня счастливо-сумасбродней,
И мукою горжусь своей святой!

Просыпается вновь душа,
Начинается гомон весенний...
Знаешь, всё-таки жизнь права
Переливами настроений.
Слушай, ты еще приходи
В снах цветных или памяти яркой:
Пусть останутся впереди
Встречи с юностью путано яркой!

СЕРДЦЕ-СОЛНЦЕ ИЛИ ЛЮБИТЬ БЕСКОРЫСТНО

Люди, вы видели Солнце?
Огромное, яркое, нежное!
Люди, а вы видели сердце
Такое, как Солнце,
Безбрежное?
Такое сердце любит
Полностью, без остатка,
Ради счастья других
Оно может
Жизнь отдать без оглядки.
Зависти, мелочной гордости
В Солнечном Сердце не место,
Ненависть к всякой подлости,
К рабству ему лестна.
Люди, вы верите сказкам?
Многие стали былью...
Люди, ищите главное,
Не увлекайтесь пылью..
Однажды чего-то достигнув,
На месте не смейте стоять,
Иначе, лишь только вспыхнув,
Сердце погаснет опять.
А знаете, как было б здорово,
Если б на всей Земле
У каждого в сердце
Горело
По Доброй Звезде?
Навеки забыли бы люди
Страшное слово «война»,
Над всеми широтами мира
Стояла бы тишина...
И в мирной тиши планеты
Кипела, бурлила б жизнь:
Наука Земли, мирозданья
Собою заполнили б мысль...
Но почему лишь страсти?
Только лишь тень надежд?
Разве не в нашей власти
Движения наших сердец?
Вы спросите: «Что же нужно,
Чтобы Солнце в себе зажечь?»
- Людей любить бескорыстно
И эту любовь беречь.

Мария ЕФРЕМОВА

«Снова шумный, сероскулый Харьков ...»

Еще вчера задумчиво деревья
стояли обнаженнее детей.

Для пышной зелени и бурного цветенья
понадобилось несколько ночей,

Весна пришла. Вдруг ранним утром вижу –
покрылись ржавчиною первые листья,
и солнца блики яростные лижут
каштановые белые цветы,

Редееет строй деревьев у дороги –
защитников от пыльных бурь и бед,
Мы обнажаем землю, а законы – строги,
за все придется Богу дать ответ.

Земля моя! Что станется с тобою,
Неужто твой удел – сгореть?
испепеленною, обугленной звездой
в межзвездное пространство улететь?

Или Господь вдруг сменит гнев на милость –
оставит нам цветущий этот рай
О, если б мы всем миром помолились
– Прости, Земля, прости, не умирай!

ЛЕТОМ У МОРЯ

Магнолия на набережной Ялты.
Вечерний луч вдруг прочертил листву –
И засиял цветок – так снежно-ярко,
Словно бы с неба бросили звезду.

В старинном парке кипарисы – до неба
И ель роскошная, и олеандр в цвету,
И наша жизнь движением наполнена,
Я утром к морю синему иду.

Ни тени улыбки –
 он важности полон,
Ни жеста поддержки –
 он очень достоин.
Мне крикнуть хотелось девчонке:
 – «Не падай!»
Но я далеко,
 а дядя тот рядом.
Она – молодец,
 она не упала,
Она улетела,
 трамвай свой догнала.

КИЕВСКИЙ ЭТЮД

Еще мы здесь, но стал воспоминаньем
Вчерашний день, а свет не угасает.
Дождем умыта лестница крутая
И купола за нами вслед шагают.

Здесь поворот – и распахнулась площадь,
О, как приятно это узнаванье!
Фонтан танцует, дождь его полощет,
А мы с тобою – в центре мирозданья.

Закрой глаза – мы унесемся мыслью
На горку, что Владимирской зовется,
Там, замерев, мы восхитимся высью
Владимиру торжественно клянемся

Любить свой край, беречь его истоки,
О, если б знал он, что случится с краем,
Наверно, взял бы посох и котомку
И среди нас бродил, увещевая ...

А город так красив, и улицы – старинны,
Синеют облака от синих куполов.
И спуск Андреевский, и площади повинны,
Что тихим шагом подошла ко мне Любовь ...

* * *

Снова шумный, сероскулый Харьков
И заботы – суета сует.
Мой костёр, ты запылаешь ярко?
Для чего мерцать и долго тлеть?

Жизнь одна, а время мчится мимо.
Где-то был неверный поворот.
Что-то я неправильно решила,
Надо бы совсем наоборот.

Как узнать, что истинно, что ложно?
В переплетенье десяти дорог
Как измерить простоту и сложность,
Глубину страданий и тревог?

Сколько ждать бессониц и сумятиц,
Сколько грусти и зелёных выюг?...
Что упустишь? что на горе схватишь?
Где замкнётся неизбежный круг?

Ну, допустим, знаешь и решилась,
Выбрала себе прекрасный путь, –
Гордость, честность или одержимость
Неприменно в дебри уведут.

* * *

Даже солнце не может пробиться
Сквозь дремучий, древний туман.
Ранним утром мне что-то не спится,
Выйду в лес, поброжу по полям...

Книгу жизни свою пролистаю –
Накопилась немало страниц.
Не сжигаю, о нет, не сжигаю –
Выпускаю на волю, как птиц.

Пусть летят – и в свободном полете,
Оторвавшись от грешной земли,
Прикоснутся к тебе мимолетом,
Светом прошлое озарив.

Виктор СЛАВЯНИН

ДЕТИ БЕЗЗЕМЕЛЬЯ

ПРОРОК

Илья открыл глаза и прислушался. Рядом громко сопел старший брат Толя. В ногах, свернувшись клубком, лежала пегая кошка. Тесное пространство на печи под потолком еще было затянуто ночной тьмой, а в избе уже хозяйничали рассветные лучи.

«Ура! — радостно воскликнул себе Илья. — Наконец, я проснулся первым! Сейчас разбужу маму...»

Вечерами, ложась спать, мальчик приказывал себе просыпаться первым. Он засыпал с тревогой, с боязнью завтрашнего дня. Эта боязнь тяготила его. И был уверен — если проснется раньше всех, когда утро только-только заглядывает в окна, то узнает о наступившем дне все наперед, и тревога оставит его, исчезнет навсегда.

Грядущий день стал пугать Илью с того самого утра, когда погиб его отец...

Вечером, перед тем днем, собираясь как всегда к телятам, отец долго сидел за столом. Жевал холодную картошку и запивал молоком. Оставив пустую кружку, тяжело вздохнул и, поднявшись, сказал, неизвестно к кому обращаясь:

— Ой, чего ж это будет завтра?..

Это был прошлогодний сентябрь. Толя уже ушел в школу, а мать давно на копку колхозной картошки. Илья у дверей хлева сортировал свою: отделял большие клубни от мелких и зеленых. Во двор въехала телега — дед Харитон вел под уздцы вороную кобылу... На телеге в ватнике и красной рубашке лежал человек и смотрел одним мутным глазом в грязно-серое небо.

Илья понял, что на телеге лежит мертвый, но не мог поверить, что это его отец: Ведь вечером тот уходил на работу в белой рубашке. И растеряно посмотрел на деда Харитона.

Старик споро освободил вороную от оглобель, оставив на шее хомут. Подхватил мальчика, усадил на лошадь и, дернув за обротъ, торопливо вывел ее на улицу. У Ильи перехватило дыхание. Вдруг случилось невероятное. Его самая большущая мечта сбылась — он ехал верхом. Ухватился крепко за хомут, прижался ногами к бокам лошади и, задыхаясь сладким ароматом лошадиного пота, почувствовал себя кавалеристом. Проехав несколько десятков метров и освоившись, Илья стал вертеть головой, надеясь, что его кто-то видит. И обернувшись, увидел, как по улице с платком в руках, чуть не падая, бежала мать...

— Марфа, займи хлопцаца, — сказал дед Харитон, обращаясь к полной седой старухе, когда въехали в чужой двор. Снял мальчика с лошади. И тяжело вздохнув, выдавил: — Лучше бы на войне погиб. От войны хоть какаясь польза есть... Пенсия детям...

...Отец вернулся с войны контуженным, с перебитыми пальцами левой руки, без одного глаза. Пятый год стоял сторожем при телятах. Его застрелил сын начальника районной милиции, повадившийся с дружками резать телят. Сторож застукал разбой, и держа на изготовку двустволку, уговаривал грабителей подобру убираться, а то не ровен час... Но молодые, здоровые парни, уже завалившие двух годовалых бычков, попытались отобрать у него ружье. Отбилась бы боевой старшина, если бы были патроны. Только по распоряжению районной власти сторожу на дежурстве больше двух зарядов не полагалось... Первый, чтобы предупредить, а второй — кликнуть на помощь милицию, которая где-то за тридцать километров в районном центре отдыхала в ночь... Фронтной старшина увернулся от лихих рук налетчиков и из двух стволов наугад пальнул. Первая картечь угодила одному в плечо, а вторая — самому главному бандюге в ширинку. Тот в болевом угаре выхватил «наган» и разрядил в сторожа весь барабан.

На перестрелку сбежался народ...

Все бы, конечно, улеглось... Пока суд, то районное начальство дело заболтало бы, утопило в чернилах, как в весенней грязи. В конце концов, обвинило бы одноглазого сторожа во всем. А суд бы согласился... Да на грех «наган» оказался казенным — личным оружием самого районного начальника милиции. Сынок, когда собрался в очередной раз за мясом, в очередной же раз выудил его «только на ночь» из папашкиной кобуры.

Всего этого Илья не знал, а запомнил только толстого милиционера, который несколько раз приезжал после похорон на тяжелом мотоцикле с коляской, привозил в серых кулечках коричневые «подушечки» и большие, облитые твердым, сладким молоком, пряники, и о чем-то подолгу разговаривал с мамой. А в последний приезд, после тягостного сидения за столом, забрал конфеты назад, выругался на мать, и из сеней крикнул:

«С голоду у меня по миру пойдет!»

Без отца в хате стало пусто и тревожно. Даже мать перестала напевать, возясь у печи.

С тех самых дней, забравшись на печь ночевать, Илья долго лежал с открытыми глазами, вслушиваясь в пугающие ночные звуки, что прилетали со двора, вспоминал свет ушедшего дня. Ему казалось, что он тем самым отгоняет от себя ночь и ее гнетущую темноту, хранительницу тревоги.

«Если бы я знал, что будет завтра, — думал он. — Я бы... — Но на этом мысль обрывалась. — Папа не знал. А мама знает. Идет на работу, говорит: «Сегодня не ходите по улице. Будет дождь». И обязательно дождь капает».

Однажды Илья спросил у мамы:

«Как ты про все наперед знаешь?»

«Потому что рано встаю, — ответила мать. — Кто рано встает, тому Бог подает»...

Илья освободил ногу, на которой лежал кот, стараясь не спугнуть животину, чтобы тот не спрыгнул с печи раньше его.

«Сегодня Толькина очередь выгонять корову, — вспомнил он. — Мама, как встанет, возьмет подойник и пойдет в хлев... А когда вернется, станет будить Тольку... Тот начнет брыкаться и локтями биться... Лучше я пойду за него. Я никогда еще на улице не был первым... Всегда кто-то уже ходит, когда я выхожу...»

Но входная дверь в избу звонко лязгнула щеколдой, раздался глухой удар — это мать поставила подойник на лавку у печи... Зашумело, процеживаемое сквозь марлю, молоко...

«Опять день будет неизвестным...» — Илья огорчился, поняв, что вновь проспал. Он соскользнул с печи на лежанку, натянул на худые ноги штаны и спрыгнул на пол.

— Чего в такую рань? — спросила мать. — Толина

очередь сегодня.

Но Илья не ответил. Молча полез под печь.

— Ты чего там забыл?

Мальчик достал из-под печи веревочный кнут на длинном кнутовище.

— Откуда это у тебя? — удивилась она. — Толя сделал?

Илья завертел головой, не соглашаясь. Он давно сплел кнут из кусочков пеньковых веревок, подобранных в колхозном амбаре. И только вчера сделал кнутовище из сухой тонкой вишневой ветки. А спрятал, чтобы старший брат не отобрал.

Он вышел из избы. Остановился на пороге и прищурился. Ранние, но уже жгучие августовские лучи, облили его худое смуглое тело приятным, ласковым теплом. Ступил на землю. И она, не успевшая остыть за ночь, тоже подарила ему тепло.

В хлеву чернобокая корова медленно повернула голову, с надеждой посмотрела на мальчика огромными масляно-коричневыми глазами, в уголках которых горели яркие, призывные светлячки. Ей надоело стоять в темном сарае и она не могла дожидаться, когда позволят выйти.

«Опять я босой по навозу, — с сожалением подумал Илья. И смело ступил на холодную землю хлева. — Как ботинки, так Тольке первому... А мне после него... и только рваные... С весны босиком хожу...»

Почувствовав возле себя человека, корова угодливо наклонила голову, предлагая освободить ей рога от налыгача. И, освободившись, оттолкнула мальчика в сторону надутым животом, торопливо пошла во двор. Ей во след призывно и жалостливо замычал теленок...

Корова деловито шла по пустой улице, стараясь на ходу ухватить листочки с веток сирени, выбивавшихся из-за плетеных изгородей. Илья семенил следом. Нес в руках кнут, и хотелось, чтобы корова вдруг залезла в чужой двор или хотя бы остановилась. Тогда он смог бы крикнуть на нее и пустить в ход новый кнут. Но животное торопливо переставляла ноги, спеша в стадо.

«Не проснулся раньше мамки, зато на улице я первый», — радостно подумал Илья и, понимая, что не дожидется, когда корова заберется в потраву, размахнулся и с силой резанул кнутом воздух перед собой. Кнутовище изогнулось, плетеная веревка завертелась змеей и гулко выстрелила. Корова испугалась и побежала еще быстрее...

На пустом выгоне у колодца сидел пастух дед Афанасий в ожидании стада. Подогнав корову к колодцу, Илья глянул на старика и испугался. Тот смотрел на мальчика пустым взглядом выцветших белесых глаз и, как показалось Илье, не видел его. Подумалось, что пастух умер.

«А кто же погонит стадо!? — испугался мальчик. — Коровы колхозу потраву сделают... Матвей-пасечник за потраву трудодни заберет... А то и корову со двора стонит! А зимой нельзя без коровы! Погоню Марту обратно... Пусть лучше по двору ходит...»

Но старик вдруг встрепенулся и, увидев перед собой мальчика, спросил:

— Это ты, Верещага... Тебе сколько лет?

«Только десять... — соображал Илья, — значит, мне шесть... А зачем ему знать про это?..»

— Не хочешь говорить, — согласился со своими мыслями старик. — Молчать лучшее... Я у вас во дворе через неделю стою. А сегодня я у Вальки Рыбака... — Пастух снова провалился в сон. Рот его открылся, высвечивая из темной пустоты пяток одиноко торчащих зубов — два сверху и три снизу.

«Марту надо домой! — решил Илья. Хотел побежать к корове, которая мирно щипала траву, но увидев, что из переулков на выгон гнали коров, остался стоять в растерянности. — Погоню назад — станут смеяться...»

— Эй, дед, принимай! — К колодцу подошел Валька Рыбак, молодой мужик в серой рубашке и соломенной шляпе. Протянул старику тряпичную сумку с едой. — Гляди, не засни, дедуля!

— Не бойсь, — ответил пастух. Взял сумку, заинтересованно заглянул в ее нутро, и радостно улыбнулся. — Вот, хотел к тебе на Троицу попасть — не вышло. Считал... на Петра попаду — опять не вышло...

— Не журишь, дед! — сказал Рыбак. — Вечером я налью тебе стопку. И за Троицу, и за Петра, и за Павла... А ты, Илья, почему такой хмурый с самого утра?

— Это уж не забудь... — ответил вместо мальчика Афанасий.

«Про Петра и Троицу дед говорил и вчера. Только тетке Варьке, — вспомнил Илья. — Почему дядя Валька не видит, что дед мертвый?.. Скажу мамке. Она заберет Марту домой...»

* * *

Илья побежал домой. На улице повстречался дед Харитон. Он ехал на телеге и гнал рядом с собой комолую корову.

— Илья, приходи на конюшню, — сказал старик. — Будем зерно с тобой возить.

Илья кивнул, соглашаясь, и побежал дальше.

Когда подбегал к своей хате, то увидел, что из их двора вышел объездчик Сурчина, ведя за повод лошадь под седлом. Это насторожило мальчика. Сурчина каждое утро развозил по селу приказы председателя на работы. Опасаясь хозяйских собак, он всегда въезжал во дворы верхом, и, оставаясь в седле, подводил коня боком к окну хаты, стучал ногой по стеклу и, наклонившись, громко выкрикивал задания на день. А после Троицы Сурчина стал заходить к ним в хату, чуть ли не каждое утро.

«Опять к мамке пристава...», — решил Илья. Он давно заметил, что мать недолюбливает Степку. И эта неприязнь передалась Илье. Сейчас захотелось хлестнуть кнутом объездчика. Но тот прошел несколько шагов по улице, запрыгнул в седло и, поддав коню каблуками в живот, проскакал громким галопом до калитки соседнего двора, скрылся за тыном.

В сенях Илья спрятал кнут за большой сундук и открыл дверь в избу.

Мать действительно ждала младшего сына. Как только он вошел, строго сказала:

— Я на ток иду... — Лицо ее было суровым, недовольным. Глаза взволнованно бегали по хате. — Молока мне носить не надо. Там будут кормить. А вы с Толей возьмите корзины, ножи, и нарежьте ботвы гички теленку. Только глядите, не попадитесь объездчику. Запомнил?.. И вырвете два буряка. Я сладкой воды сварю. А вечером молодой картошки нароем...

Илья кивнул, соглашаясь, и подумал:

«Вчера тоже обещала нарыть... И позавчера...»

— Ты понял? Чего молчишь? — недовольно спросила она. — С утра уже язык проглотил?

Илья смотрел на мать и понял, что она не побежит за коровой, даже если он расскажет про мертвого пастуха.

— Иди, ешь! — приказала мать. — Прикроете все на столе за собой рушником! Чтоб мухи не засидели!

Она хлопнула дверью...

Как только мать ушла, Толя соскочил с печи и бросился к столу. Схватил кусок сухого хлеба, макнул в глиняное блюдо с подсолнечным маслом и отправил в рот.

Илья тоже жевал сухой хлеб, обмоченный в масло, и думал:

«Только сейчас предложит идти бить воробьев. Они вкусные, когда жаренные... Да полдня битую метать надо, чтоб десяток набить. И Только самых больших себе заберет... И все равно воробьи вкуснее, чем это голое масло с солью... — Он налил в кружку молоко из крынки, окунул в него хлеб, принялся наблюдать, как тот разбухает... — Мама обещала нарыть молодой картошки... А вечером опять забудет про нее... Нальет молока и заставит голодным лезть на печь спать...»

Толя набил рот хлебом, запил молоком, с трудом проглотил эту жвачку, и сказал:

— Сейчас пойдем к деду Харитону.

Илья с любопытством посмотрел на брата.

— Он с тобой дружится... — пояснил Толя. — Пойдешь?

После смерти отца дед Харитон действительно крепко прижил к себе Илью, как будто откупался. В ту трагическую ночь старик должен был дежурить в телятнике. Но уговорил Верещагу поменяться с ним днями. И теперь, если едет мимо их двора, всегда остановится, подзовет мальчика, посадит в телегу и везет к себе. В хате усадит за стол и угощает чем-нибудь. Один раз давал даже черно-коричневый сладкий мед. А когда угощает его жена бабка Марфа, то старик все время недовольно ворчит и бубнит себе под нос:

«Дай дитю больше... Все тебе жалко...»

Толю старик тоже привечает, но молча, не крепко, без ворчания.

Прожевав, брат с серьезным видом заговорил быстро:

— Придешь... В хате, на дверном косяке... на гвозде новый кнут висит. Я был и видел... Когда бабка Марфа выйдет, ты снимешь с гвоздя, отломишь голову от кнутовища. А хвост в карман спрячешь. — Брат говорил уверенно, точно знал наперед, что Илья сделает так, как он задумал. — Я этот кнут на пачку «Ракеты» выменяю. Мне обещал один... из Павловки. Он у своего батеньки две пачки стибрил...

Дождавшись, когда Илья допьет молоко, Толя скомандовал:

— Пошли. Сразу скажешь Марфе, чтоб она тебе кислого молока из погреба подняла. Она туда как

черепаха. А ты быстро сломаешь, а палку под печку сунешь. — У Толи вдруг загорелись глаза. Он говорил и, должно, видел все придуманное вживую. И нетерпение обжигало его нутро. Уже представлял, как курит городские папиросы и ловит завистливые взгляды товарищей. — Пока она слазит в погреб, ты успеешь... Пошли...

«Я кнут уворую, — подумал Илья, — а дед все равно узнает, кто украл. И никогда не пустит на конюшню».

Он вдруг искривил лицо в болезненной гримасе, схватился за живот и побежал в сени. Оттуда выбежал во двор, за хлев, упал в бурьян у самой навозной кучи и притаился. Свежий навоз, который мать выбросила утром, ядовито резал ноздри и пробирался внутрь, заставляя живот болезненно сжиматься. Но Илья терпел, не желая выдать себя...

Не дождавшись брата, Толя вышел во двор и громко закричал:

— Илька! Илька, прибью!

Но, не получив ответа, выругался и ушел на улицу.

* * *

Оставшись один, Илья решил пойти на конюшню. Он всегда по утрам, если не было большого задания от матери по хозяйству, ходил туда, чтобы вместе с кем-нибудь из конюхов, верхом, без седла, отвести лошадь на луг. Таких лошадей было всегда две. Они всю ночь возили воду на фермы. Утром их меняли другие. Усталая животиная была послушна и не спеша брела по дороге, даже не замечая маленького седока.

Конюшня, — длинный глиняный сарай без окон, крытый соломой, — притягивал Илью своей полутьмой и пьянящим запахом конского пота. Когда он входил в его мрак, дальние, всегда широко раскрытые ворота казались ему выходом в неведомый мир, где свободно скачут огненно-гривые кони, а он бежит рядом с ними, как равный.

В конюшне было пусто. Даже денник, где стоял вороной жеребец колхозного председателя Сафрона-пасечника, пустовал. Лишь ласточки и воробьи деловито летали под соломенной крышей.

«Значит, все кони молотят», — понял Илья и пошел на ток.

Дорога уходила в поля. Слева разлилось желтое половодье вызревшей ржи. Справа стеной высилась кукуруза. Земля на дороге крепко прогрелась и, казалось, что это от нее исходит жар, который пропитал воздух, заставил поникнуть желтую рожь и уже начал угнетать неприступную кукурузу, листья которой тоже поникли, прихваченные желтизной. Только острые початки, выбросив наружу коричневые чубы, гордо смотрели в небо.

У противоположного берега золотого моря медленно плыла жнейка, нервно размахивая большими крыльями, словно хотела взлететь. За ней, будто из глубины на гребень желтой волны, выныривали белые косынки — это женщины вязали снопы.

Впереди, в двух шагах, задоря мальчика, две молоденькие трясогузки игриво семенили короткими ножками. Когда же Илья приближался к ним очень близко, и казалось, что уже может схватить одну за беспрерывно пляшущий хвостик, птички перелетали на метр вперед, и снова бежали по песку. И мальчик решил, что эти серые птахи сопровождают его, чтобы он не заблудился...

Все вокруг жужжало и стрекотало. Наглый серый слепень норовил усесться Илье на руку, а тот безуспешно пытался прихлопнуть кровососа. И это походило на игру...

Из ложбины на пригорок вдруг выскочила жнейка. Ее тянули две гнедых кобылы. Жнейка, опускала крылья на стебли ржи, как кавалерист саблю. А те безучастно и покорно сминались под безжалостными ударами. За скрипящей машиной по свежему покосу на негнущихся ногах бежал вороной четырехмесячный жеребенок, скучно повесив голову, увенчанную большой белой звездой во лбу. Увидев Илью, жеребенок остановился в испугане. Но, должно, поняв, что перед ним такое же дитя, как и сам он, заносчиво изогнул дугой шею, запрокинул голову в сторону, и, задрав трубой коротенький черный хвостик-метелочку, горделивым стремительным галопом проскакала вперед рядом с мальчиком, обгоняя жатку...

На току трактор с большими задними колесами, утыканными острыми треугольными шипами, недовольно бухтел. От него к огромной молотилке, похожей на хату, только без крыши, тянулась змеей широкая лента, беспрерывно качаясь и норовя

соскочить. Машина тряслась, дергалась множеством больших и маленьких рук-мотовил. Этот гремящий дом задавал ритм всему, снующему рядом, подвозящему и отвозящему. Казалось, сломайся какая-нибудь люшня у молотилки — и все остановится, замрет. Люди, лошади, веялки словно чувствовали это и боялись этой остановки, и из последних сил бежали вперед. Только пара волов, тягавшая волокушей солому от молотилки на огромную скирду, не замечала ничего вокруг, и равнодушно переставляла ноги по утрамбованной земле.

На самом верху молотилки стоял Валька Рыбак по пояс голый. С арбы, запряженной белыми волами, две бабы бросали ему снопы. А он ловко подхватывал их, швырял в трясущееся нутро машины. Загорелое тело Рыбака, облитое потом, облепила пыль от колосков. И Илье казалось, что дядя Валя сам превратился в сноп и готов прыгнуть в молотилку...

«Мне бы такую машину, — подумал Илья. — Маме и Тольке не нужно было бы мотать цепами... Сразу зерно выходило бы. Я бы по дворам на ней ездил и всем бы молотил...»

С другой стороны молотилки две женщины ловили тонкий зерновой ручеек в плетеные корзины. Когда одна корзина наполнялась, женщина относила ее к веялке и возвращалась. За ней следовала другая.

Возле веялки Илья увидел мать. Она крутила большое колесо. Лицо было закрыто цветастой косынкой. Тугая, крепкая спина намокла, и белая кофточка прилипла к ней. Илья видел, что мама через силу крутит колесо, но почему-то не может оставить его, точно приросла к ручке. А колесо, не останавливаясь, тянет за собой материнские руки, не желая отпускать. Ее товарка, подхватывала тяжелую корзину, высыпала зерно в веялку. Бросала корзину на землю и большой деревянной лопатой начинала отгребать провеянное зерно в сторону.

Илья хотел подойти к маме, но его кто-то толкнул в плечо. Он обернулся. Перед ним стоял брат.

— Пойдем, — загадочно шепнул Толя. — Корзину свистнем. И на речку... за рыбой.

Илья посмотрел на брата, и завертел головой, не соглашаясь.

— Только потом не проси рыбу! — недовольно буркнул брат, и исчез.

Со скирды пара волов стащила волокушу. Ее подтянули к молотилке, и Валька Рыбак открыл дверь-

решетку у машины. Из бункера с возгласом облегчения на волокушу упала гора соломы.

Волов увели.

— Садись, Илья, — крикнул Рыбак. — Поедешь на скирду. — Он спрыгнул с молотилки на землю, подхватил мальчика и забросил на гору соломы.

Илья провалился в горячую траву с головой, точно в колодец. На его дне было еще жарче, чем на земле. А над головой белел клочок выгоревшего неба, в котором черной точкой парил коршун. Откуда-то снизу, из-под его ног послышалось громкое шуршание — кто-то большой нервно копался в соломенной куче.

«А если это хорь? — подумал Илья, пугаясь. — Мама говорила, что они сильно кусаются...»

Он попробовал выбраться наверх. Но гора вдруг дернулась и медленно поползла. Наклонилась и с шипением стала забираться куда-то вверх. Остановилась на скирде.

На такой высоте Илья еще никогда не бывал. Земля, оказавшаяся далеко внизу, выросла и разбежалась во все стороны... Стука трактора почти не было слышно. Молотилка стала похожей на телегу. Он хотел увидеть мать, но с трудом отыскал взглядом лишь веялку, которая показалась ему меньше спичечного коробка.

А вокруг, во все стороны, расходились желтые волны — ветер гулял по колосьям ржи, то нагибая их к земле, то заставляя тянуться к солнцу. Четыре серые дороги резали поля на большие куски. По одной пара волов медленно тянула большую арбу со снопами. А у самого края поля жнейка размахивала крыльями. В другой стороне, за ржаным полем, за молодой низкорослой лесополосой, зеленело озеро свекловичной ботвы. Дальше, у самого края земли, похожая на серебряную ниточку, блестела речка. За ней, далеко-далеко на лугу, у самого леса, были разбросаны маленькие разноцветные точки — это паслось деревенское стадо... И лишь черный коршун гордо парил в вышине выцветшего неба, одинокий и недосягаемый...

Двое парней раскидали вилами копну, и Илья, к своему удивлению, оказался на скирде рядом с братом. Тот возился у края скирды, размахивая руками, переговариваясь с кем-то, кто был внизу. Потом Толя кубарем скатился со скирды и исчез. У него это вышло ловко. И Илье захотелось скатиться также. Он закрыл глаза, чтобы не бояться, прыгнул, и покатился по склону.

На земле гул трактора перекрикивала женщина.

— Кто украл корзину? Иде моя корзина?

Но ее никто не слышал. Молотилка тряслась. Мать крутила колесо веялки, а товарка гребла деревянной лопатой.

Рядом с матерью стоял объездчик Сурчина. Он что-то говорил ей, побивая себя кнутовищем по голенищу.

Илья хотел подбежать и оттолкнуть Сурчину, чтобы он не приставал. Но на ток въехал дед Харитон на телеге.

— Иля, — позвал он. — Ходи ко мне. Ты почему не пришел на конюшню?.. Поедем в амбар зерно возить.

Старик подвел лошадь к мешкам с зерном, взялся бросать их в телегу. Когда закончил, усадил мальчика на мешки, отдал ему вожжи, тронул лошадь, а сам пошел рядом. Он был высок и худ. Длинное лицо с острым подбородком накрывал сверху маленький картуз. Старик напоминал гвоздь. Дед ходил, широко ставя тонкие ноги. Со стороны казалось, что это неудачно сбитый аршин идет по полю без землемера.

— Ты чего не приходишь до нас? — спросил дед Харитон. — Бабка Марфа тебя бы лерунами накормила. Толька твой, вот, приходил... а ты не хочешь.

Но Илья не слушал. Он тонул в счастье. Даже задыхался от радостного волнения: ведь сам управлял конем и телегой.

«Почему я не взял свой кнут?.. — раздосадовано подумал Илья. — Вот если бы проснулся раньше всех, то обязательно узнал, что дед позволит конем править...»

Очень захотелось, чтобы его увидела мама. Оглянулся на ток. Но мать стояла к нему спиной и надсадно крутила колесо веялки...

— Но, пошла!.. — громко крикнул дед Харитон, и запрыгнул на мешки: — Без кнута не хочет тянуть!.. Вот несчастье. Кнут потерялся гдесь. Новый. А потерялся.

«Это Толька его украл, — хотел сказать Илья, но промолчал. — Скажу — Тольку дед поймает и выпорет. А если мамке про это выговорит — тогда совсем беда...»

Старик принялся крутить в газетный клочок самосад — из кисета от махорки пошел острый, щиплющий аромат. Он долго чиркал спичками о коробок, недовольно мыча. Наконец, над полем поплыл густой, сизый дым.

— А мы с твоим батькой хотели этим летом печки пойти складывать, — сказал дед Харитон. Должно, дым навел его на эту мысль. — Я его перед самой войной

научил глину вымешивать и межигорку подбирать. А он обещал тебя выучить на печника. Да не сподобил Господь. Да ты еще малый крепко для печника... Вот, вырастешь, каку девку для себя присмотришь... А хоть мою внучку... Нет. Ты, Илья, жидковат годками пока... Она, вона, уже книжки читать про царей египетских и цезарев императорских, что до нас на Риме стояли. А ты подрастешь, я тебя обязательно выучу печки складывать... Это тебе для всей жизни сгодится... Потому, как нашему человеку от роду наказано жить с летом и с зимой. А, значит, без печки в наш мороз околеет... А потом ты своих детей выучишь печки складывать... — Дед Харитон скрутил новую самокрутку, прикурил от первой. — У тебя сколько детей будет?

Илья растеряно пожал плечами, глядя в лицо старика.

— Тебе про это думать рано. Годков через двадцать сам удумаешь без моей помочи...

Въехали в кукурузное поле. Сразу стало жарко и душно, как в соломенном колодце.

Из-за поворота вдруг выросла воронья лошадь. Голова ее была высоко вздернута и возвышалась над худыми долговязыми кукурузными стеблями.

«Вот бы мне такого... — с восторгом подумал Илья, любясь вороним жеребцом. Но узнав бричку председателя, испугался. — Сейчас начнет ругаться...»

Сафрон-пасечник остановил бричку рядом с ними. Он и дед долго переговаривались. Потом старик снял с телеги один мешок и перебросил его в председательскую бричку. Илья заметил, что на мешке была большая красная заплата.

Жеребец с места взял галопом, хоронясь от мира плотной завесой пыли.

— Хозяин, — словно оправдываясь, объяснил дед, запрыгнув на мешки. — Чтоб нам круги не давать, отвезет на птичник... Погоняй, Иля.

Поле закончилось. Дорога разломилась надвое. Дед Харитон спрыгнул на песок, взял лошадь за оброть, повел по той, что жалась к хозяйским огородам.

«Комора же в другую сторону», — подумал Илья озабоченно.

Лошадь свернула с дороги в огороды. Пошла по ржаной стерне, тяжело вытягивая груженую телегу. Старик дергал за уздечку нервно и что-то недовольно выговаривал себе под нос. Илья понял, что он ругает коня.

Въехали в молодой низкорослый сад, и оказались во дворе Харитоновой избы.

— Иди, Илья. Марфа тебе дерунов дасть. — Старик снял мальчика с мешков, поставил на землю и подтолкнул легонько в сени. Торопливо прикрыл дверь. Но она не захлопнулась плотно. И сквозь щель Илья видел, как дед подбежал к телеге, ловко спихнул с нее упитанный мешок с зерном, подхватил вожжи и, молодецки запрыгнув на грядку, громко крикнул: — Но, пошла!

Телега с грохотом уехала.

Бабка Марфа, была закутана в толстый платок, который своими концами поддерживал подбородком. Над верхней губой росли редкие усы. И из усов торчала большая красная горошина-бородавка. На ногах у нее были стеганные черные валенки. От нее пахло дрожжами и свежее испеченным хлебом. Она усадила Илью за стол. Поставила перед ним тарелку со сметаной и пятью темными лепешками.

— Ешь. Толя сегодня с утра заходил. Ел... Молодец. Быстро управился. Хорошо будет работать.

Сказала и вышла, оставив после себя кислый аромат.

Илья взял дерун, обмакнул его в сметану и принялся жевать. Он оказалось соленым. Мальчик искривил губы, заставил себя проглотить кусочек, который был во рту, остальные деруны сложил в карман штанов.

«Отдам Жучку...» — подумал он, и принялся вылизывать сметану.

Марфа вернулась и, увидев пустой стол, радостно сказала:

— И ты, Илья, будешь хорошо работать... Человек как ест, так и работает... Ну, ходи здоров!..

Илья соскочил с лавки и выбежал из хаты. Сейчас думал только о собаке.

Мешка во дворе уже не было.

«Наверно дед Харитон забрал, пока я ел», — мелькнула мысль. И побежал домой.

В своем дворе Илья встал возле конуры Жучка и, отрывая от деруна кусочки, пробовал научить собаку стоять на задних лапах. Пес, увидев еду, только прыгал, стараясь выхватить ее из рук мальчика. А на задние лапы становиться не собирался.

Во дворе появились Толя и его друг, курчавый, черноволосый, не улыбкающий Вася Бортник. Вася держал в руках плетеную корзину.

— Пошли рыбу ловить! — крикнул Толя, увидев брата. Илья радостно улыбнулся, бросил собаке деруны и пошел следом за братом

* * *

На реке было пусто. Только летали береговые ласточки наперегонки.

Ребята разделись догола, залезли по пояс в воду.

— Ты иди, загоняй! — приказал Толя брату.

Он и Вася взяли корзину, опустили в воду и поволокли по дну вдоль берега. Илья стал прыгать в воде, двигаясь навстречу. Шум и брызги разлетались от него во все стороны.

Первый заход оказался неудачным. Корзина оказалась пустой. Попробовали еще раз. Попалась маленькая плотвичка. Вася выбрался на берег и завернул рыбку в рубашку.

— Пойдем на другое место, — предложил он. — К кустам.

Перебрались метров на двадцать выше по течению, где над водой нависали кусты краснотала. Снова опустили корзину. Илья принялся прыгать и шуметь.

Вася вдруг выхватил из воды корзину и громко крикнул:

— Есть.

Когда струи вылились из плетеного решета, на дне затрепетали серебристые рыбешки, размером в палец. Среди них прыгала маленькая щучка, похожая на короткую черно-зеленую палочку.

— Чур, моя! — крикнул Толя.

— Почему — твоя? — недоуменно спросил Вася.

— Я корзину свистнул!

— Ну, и лови сам, — спокойно сказал Вася. Оставил корзину. Она упала в воду. Рыбешки счастливо уплыли.

Бортник выбрался из воды, оделся и ушел.

— Ну... и буду сам, — громко и недовольно ответил Толя. Опустил корзину и крикнул брату: — Загоняй!

Илье стало стыдно за брата.

«Вот, жадина! — подумал он. — Ну, еще бы поймали! И всем бы хватило. Наловили бы... пожарили... Васька умеет ловить, а ты не умеешь...»

Сделали пять загонов, но корзина каждый раз оставалась пустой. Пробовали еще и еще. Однако рыба

не попадалась. Толя постоял, глядя на воду, а потом вдруг швырнул корзину на берег и, выходя следом, сказал:

— Пойдем воробьев бить. Их пожарим.

«Не пойду за воробьями... — недовольно подумал Илья. — Надоели...» — И, чтобы Толя не приставал, бросился в реку, поплыл по-собачьи на противоположный берег.

Брат исчез куда-то.

Илья полежал минут десять на песке. И вдруг заволновался: его одежда осталась на другой стороне.

«Придет кто-нибудь и заберет... А у меня нет другой... А голому только дома можна...»

Он снова бросился в реку, напугав ласточек.

Одевшись, Илья решил идти на ток.

«Лучше бы я с дедом Харитоном поехал... — рассуждал он, шагая по горячему песку, — чем за этой рыбой... Васька сейчас злой. Расскажет своей мамке, что Толька украл корзину... Тетка Дарья обязательно нашей мамке передаст... Мать надерет... Я лучше принесу корзину и брошу незаметно возле скирды... Не люблю, когда Тольку лупят... Он после этого на меня целый день дуется...»

Илья вернулся, подхватил корзину, побрел вдоль реки, выбирая самую короткий путь на ток. Дорога тянулась вдоль берега. Ее к воде прижимала нескончаемая стена хозяйской кукурузы. Впереди он услышал громкий топот лошадиных копыт. Затем этот стук затих. Захрустели стебли кукурузы, точно по ним кто-то продирался, ломая. Илья увидел над высокими стеблями голову председательского жеребца. Конь шел напрямую, подминая грудью густую поросль, оставляя после себя что-то, похожее на лесную просеку.

«Сейчас увидит корзину, — испугался Илья, зашвырнул ее в кукурузную чащобу. — Начнет ругаться... А, может, и биться...»

Жеребец тянул бричку огородами к деревенским дворам. Сафрон-пасечник остановил его у молодых вишен. Спрыгнул на землю, взвалил на плечи мешок и понес в свой двор. Илья глядел на председателя, следя, как гаснет в темноте вишневой зелени огонь яркой красной заплаты.

Председатель вернулся. Бросил пустой мешок в бричку, запрыгнул в нее, и стегнул вожжами коня. Тот, изгибая шею и недовольно мотая головой, галопом полетел по пробитой им же просеке. Выскочил на дорогу.

Стук копыт затих скоро...

Илья еще издали увидел скирду. Гора успела крепко

подрасти. Долетали бухтение трактора и грохот молотилки. Он собрался уже свернуть с дороги, чтобы через хлеба пробраться к скирде, как возле него вдруг вырос председательский жеребец. Бричка остановилась, и Сафрон-пасечник, тряся кнутовищем, строго спросил:

— Ты куда это корзину воруешь!?

— Я не умею воровать, — уверенно ответил Илья. Посмотрел на председателя, и закрыл корзину собой.

Председатель прыгнул, подхватил мальчика вместе с корзиной, и зашвырнул в бричку. На току они остановились. Сафрон-пасечник встал в бричке во весь рост, поднял над головой корзину и громко крикнул, пересиливая гул машин:

— Чья это корзина!?

— Ой! — в ответ от молотилки донесся вопль женщины. — Так то ж моя! Ах ты ж ворюга! Ах ты ж Верещага поганая! Любка, ты погляди на своего цуцика!

Мать оставила веялку, подошла к бричке, взяла Илью за ухо и стащила на землю. Не отпуская, повела с тока.

— Зачем ты взял корзину? — спросила она.

Илья молчал, глядя на мать не моргая.

«Если станет бить, — решил он, — расскажу про председателя. Про мешок...»

— Я у тебя спрашиваю?.. Зачем? — Мать отпустила ухо. — Ты что... язык проглотил!? Председатель за эту корзину трудодни заберет! Что зимой жрать будем!?

Лицо матери было закрыто косынкой. Илья видел только глаза, которые горели недобрым огнем.

«Нет! — думал Илья. — Про председателя нельзя говорить. Он тогда прикажет деду Харитону не пускать меня на конюшню...»

— Надоело вас каить!.. Чего молчишь!? — воскликнула мать сокрушенно. — Вот Бог наградил! — Сдвинула на подбородок косынку. Илья увидел знакомые, мягкие, добрые губы. Показалось, что они улыбаются. И улыбнулся в ответ. — Покойник и тот болталивей!.. Иди домой! И принесите гичку с Толькой! Попадетесь кому-нибудь — прибью!

Она торопливо пошла к веялке.

* * *

Илья медленно побрел по дороге. Он корил себя, за то, что не умеет, как взрослые, угадывать дни. Хотелось плакать.

«Я бы утром уже знал, что председатель меня с корзиной поймает... И спрятался бы...»

Несколько слезинок выскользнули из-под плотно прикрытых век. Но он стиснул зубы и заставил себя посмотреть на солнце. Слезы сразу испарились.

Вдруг на дорогу из ячменного поля вышла белая курица, беспрерывно кудахча. За ней тянулся длинный, пискляво-желтый выводок. Один нерасторопный комочек попал в глубокую яму, оставленную копытом вола, и с криком пытался выбраться. А мамаша вошла в картофельные заросли и забыла о детеныше. Цыпленок прыгал, размахивал короткими желтыми крылышками и жалобно пищал, но выбраться из ямы не мог. Илья подошел, подцепил пальцами птаху и вытолкнул на дорогу. Птенец с радостным писком бросился догонять свое семейство.

Проводив цыпленка взглядом, Илья побрел дальше улыбаясь.

Но дорога снова остановила его. Из густого картофеля выбежала коричнево-черная, с белым брюхом, ласка. Она походила на того щучонка, которого поймал Вася. В зубах ласка держала небольшую лягушку, которая жалобно всхлипывала. Илья захотел догнать зверька, чтобы освободить лягушку, но ласка перемахнула через дорогу, не оставив даже следа на песке, и скрылась среди ячменных колосьев. Он вытянул голову, стараясь угадать по качающимся колосьям, куда побежала ласка. Но поле сонно дремало под солнцем, подмигивая голубыми васильками.

Илья забыл о председателе, о брате. Стал думать о несчастном лягушонке.

«Принесет его в гнездо... он обязательно убежит... — убедил себя Илья. — Прыгнет... и ласка его не догонит».

Незаметно для себя он оказался на берегу реки.

Брод переходили три коровы. А комолая, деда Харитона, уже успела перебраться через реку и жевала стебли хозяйской кукурузы.

Илья заволновался. У него сбилось дыхание.

«Он же был у колодца мертвый, — вспомнил мальчик пастуха. — Может, сейчас снова умер. Марта пойдет в потраву, а председатель заберет за это трудодни!.. — Подбежал к кусту краснотала, выломал длинную, тонкую ветку. — Только бы Марта не пошла в потраву... Если налетит председатель или объездчик... тогда нам с мамкой конец...»

Наспех подвернул до колен штанины и бросился в воду. Ему навстречу брод переходили еще две коровы. Выскочил на луг и побежал к лесу.

Стадо разбрелось. Илье показалось, что и лес разбредается во все стороны.

Свою корову Илья увидел сразу.

— Марта, Марта, — позвал он.

Но корова равнодушно щипала траву.

Старик Афанасий лежал на сером парусиновом плаще, лицом к небу. Рот его был широко раскрыт и оскален. На худом желтом лице замерзла болевая гримаса. И по белым, чуть приметным губам ползали толстые жирные мухи, забираясь в рот.

Илья подбежал к своей корове, хлестнул ее и погнал к броду.

«Я утром знал, что дед умрет... — сказал он себе. И если утром, увиденная им смерть пастуха, испугала его, то сейчас — обрадовала. — Я угадал! — радостно думал он. — И теперь я все угадаю, что будет завтра! И... дальше! Даже когда я вырасту!..»

Марта почти бежала, а Илья ее догонял и хлестал розгой. Делал это со счастливой улыбкой. Хотелось, чтобы корова быстрее пришла домой, а сам день кончился и начался новый, который он утром увидит первым и весь угадает. И с уверенностью сказал себе: «Теперь я все буду знать про завтра! Пойду завтра сам пасти Марту... А потом Толька придет вместо меня... Нет. Тольке нельзя. Он бросит корову, а сам побежит в колхозный сад воровать яблоки... Я один пойду пасти. Кнут у меня есть. Мама даст молока с собой на весь день... А кто же пойдет за гичкой для теленка?.. Как плохо, что у мамки только я и Толька... Когда у меня будут дети, то двое будут пасти корову по очереди, а двое ходить за гичкой... А яблоки у нас будут свои. И не нужно лазить в колхозный сад...»

Переправившись через реку, Илья погнал корову домой. Когда он и Марта были у крайней хаты, увидел, что, с тока к реке бегут люди. И среди женщин он узнал мать...

* * *

Братья всегда ходили за ботвой ближе к вечеру, когда солнце уже не могло пробить своими жаркими лучами заслон из верхушек деревьев, и обессилившее, падало за лесом. А сейчас оно еще висело высоко. Они уселись

в молодой, высаженной прошлой весной, лесополосе, решили ждать, когда сядет солнце.

Жара здесь была не сильной. С поля, от леса дул легкий ветерок. Осиновые листочки трепетали, заигрывая, подмигивали серебристым цветом.

Толя несколько раз выходил в свекловичное поле и глядел по сторонам, словно кого-то ждал. Возвратившись, говорил Илье:

— Ну, иди уже резать!

Однако Илья не двигался с места. Он знал, что именно в это время объездчик разгуливает по полям.

А Толя не настаивал. Он срезал большим ножом тонкое осиновое деревцо, очистил его от мелких веточек и от скуки принялся им рубить траву вокруг себя. Наигравшись, снова сказал:

— Ну, иди уже!

Так прошло часа два.

Солнце скрылось за лесом.

Илья взял у брата большой нож, корзину и шагнул в ботву. Опустился на колени, принялся аккуратно срезать листья и укладывать в корзину. Его выгоревшая, белобрысая голова чуть виднелась над зеленой водой свекловичного моря. Он прополз метров двадцать и почти наполнил корзину. Ноги у него быстро устали. Хотел встать. Поднял голову... и увидел — по меже между полями едет Сурчина. Илья испуганно упал на живот и, быстро перебирая ногами и локтями, поволок корзину к лесополосе. Корзина цеплялась за ботву, норовила выскочить на поверхность.

— Ты чего? — спросил Толя.

Илья приложил палец к губам, веля брату молчать, и указал на поле. Упал в траву и притаился.

Степка ехал и курил. Затягиваясь, смотрел в желто-серую даль и перебирал в голове, что бы такое придумать, чтобы вернуть себя Любе Верещаге. Совсем недавно, в Троицын день он возвращался из района, где весело гулял в компании. И на полевой дороге нагнал Любу. Она шла из церкви. Брели медленно и разговаривали.

«А тебя почему в армию не взяли?» — спросила Люба.

«Вдовый я, — засмеялся Степан, — по причине плоскостопия».

«А это в каком месте?» — весело спросила она.

«Там... где и у других мужиков...» — нашелся объездчик.

Они залились смехом.

Люба наклонялась, срывала то ранний василек, то, случайно забредшую в зеленую рожь, ромашку. Сорвав, подносила к лицу Степана и говорила:

«Ох, как пахнет...»

Потом громко вдыхала аромат, крутя цветок у своих глаз. При этом улыбалась... И Степан почувствовал, что женщина с ним заигрывает. И ему казалось, что он и Люба — старинные друзья, и даже — любовники. Только очень-очень давно злая судьбина их разлучила.

Когда дошли до села у нее в руках был большой букет.

Дождавшись вечера, начистив сапоги и сменив выгоревшую солдатскую гимнастерку на белую рубашку, Степка пошел к Любе. Встретив объездчика в сених, она попросила его подождать во дворе. Через час, погасив в хате лампу, вышла. Они уселись на лавке под кустом сирени. Люба непрерывно отгоняла веточкой мошкарку, а Степан курил одну за другой городские папиросы, выстреливая окурки на улицу через тын. Больше молчали. Уже луна выкатила на самую макушку неба, укоротив ночные тени, а они все сидели... Вдруг Люба встала, взяла Степку за руку и повела в хату... И неожиданно их проводил запоздалой, призывно-завистливой песней из кустов, вдруг встрепенувшийся одинокий соловей...

После этой ночи Степа точно переродился. Его словно заколдовали. Сидел в доме у председателя или в правлении, ездил по полям и дворам, ел или лежал на своей печи — эта женщина стояла перед глазами и манила к себе. Не имея сил бороться с собой, с трудом дотерпев до воскресения, он, сорвав в огороде несколько белых и розовых стрелок люпина, и провожаемый криками первых ночных сов, огородами пошел к Верещагам. Но Люба встретила его не улыбочиво, цветы не взяла, и сказала резко:

— Ходи домой.

Он еще раз попробовал прийти в ближайшую субботу. Но Люба даже не открыла, а через дверь приказала:

— Не ходи сюда! — В ее голосе не было никакой веселости, а только раздражительная неприязнь.

Степан стал наведываться по утрам, когда развозил задания на работу, но каждый раз Люба встречала его холодным молчанием. Уходил, провожаемый недобрим взглядом...

Сейчас, увидев среди зеленой ботвы белую голову Ильи, Степан обрадовался.

«Сегодня вечером зайду... — решил он. Выплюнул окурок, достал новую папиросу из пачки «Бокса» и закурил. — И спрошу... чего это Ильяка делал в ботве?.. Любка предложит посидеть... Пойдем в сирень...»

С этими радужными надеждами объездчик уже хотел свернуть и ехать через ячменное поле к току, как вдруг увидел старшего Верещагу.

А Толя вместо того чтобы прятаться, схватил нож, срубил молоденькую осину и, выскочив на поле, принялся, остервенело, по-кавалерийски, хлестать ботву, безжалостно сшибая листья. Зеленые ошметки разлетались во все стороны... А паренек дразнясь, пялил себя объездчику, демонстративно размахивал розгой. Он сейчас чувствовал власть над человеком, которого все боялись в селе, и был уверен, что объездчик молча проедет мимо. Толя помнил, что проснувшись вдруг среди ночи, он услышал шепот двух голосов на полу избы. И узнал голос Степана. Потом послышались шаги — торопливо зашуршала осока, набросанная на пол, скрипнула входная дверь, звякнула щеколда на двери из сеней во двор, словно ее захлопнул сквозняк. Следом захрипел засов, как замученный болезнью старик. Через мгновение снова зашуршала осока на полу, но уже неспешно, мягко и успокоено. Это вернулась мать. Захрустела чуть слышно солома ее постели, и ночную избу затянуло успокоенное молчание.

А Толя продолжал рубить...

Сурчине захотелось подъехать, надрать Толе уши, но он дернул повод и пустил кобылу галопом прямо по ячменю в сторону от свекловичного поля...

«К председателю поехал жаловаться... — со страхом подумал Илья, провожая взглядом объездчика. — Тот завтра заберет у мамы все трудодни за ток. А у нас нету зерна. Она вчера ходила к деду Харитону за мукой... А этот рубит!.. »

Осина в руках у брата вдруг переломилась пополам.

Толя схватил нож, срезал новую. В лихом угаре бросился уже сбивать веточки с чахлых деревьев... И крикнул, глядя на младшего брата:

— Понял?! Теперь нам не нужно будет прятаться! Будем все резать!

Илье показалось, что у Толи нет сил остановиться. Он видел, что глаза брата вспыхнули пьяным жаром, а на лице, всегда хмуром и недовольном, расцвела вдруг счастливая улыбка.

— Дурак! — буркнул Илья. Собрал, нарубленную ботву в корзину и быстро пошел домой.

* * *

Мать успела подоить корову и возилась у печи.

— А где Толя? — спросила она, встречая Илью.

Мальчик пожал плечами и отвел глаза.

— Иди, зови его! — приказала мать. — Будем картошку есть... молодую...

Но Илья уселся за стол и уставился в окно. Весь напрягся, стал внимательно слушать. Ему казалось, что слышит стук копыт председательского жеребца, и что сейчас откроется дверь, и войдет Сафрон-пасечник...

Дверь действительно загремела. Пришел Толя. Он сразу заглянул в печь и сказал:

— Ура, будет картошка!

— Ты откуда знаешь? — спросила мать.

— В огороде накопано...

— А ты где был?

— С Илькой ботву резал.

— Вас видели?

— Нет, — бодро ответил Толя и уселся за стол напротив брата.

Мать вышла.

— Скажешь... — пригрозил Толя. — Прикончу! — Схватил кусок черствого хлеба и всунул в рот. — Понял?

Илья посмотрел на Толю, и брат вдруг показался ему, похожим на ту ласку, а хлеб во рту напомнил жабу.

Мать вернулась с зелеными луковицами в руках. Она сразу заметила, что между братьями точно пробежала кошка.

— Вы чего не поделили? — спросила недовольно. Но ее лицо осталось спокойным.

Ребята промолчали, глядя в пустоту мимо друг друга.

Мать поставила на стол большую глиняную миску, наполненную молодой картошкой, от которой шел пар. Положила перед каждым деревянную ложку и по две луковицы. Сама села рядом с Толей. И вдруг спросила старшего сына:

— А для сладкой воды буряков набрали?

— Завтра наберем! — выпалил Толя

— Завтра пойдешь корову пасти...

— Почему сразу я? — возмутился он. — Пусть Илька идет, а я за гичкой...

Входная дверь загудела. Вошел Сурчина. На нем была белая рубаша и морская фуражка.

Увидев объездчика, Толя сник, опустил голову, и устоялся в пустой угол хаты. Мать это заметила. Она порывисто встала и осталась стоять в растерянности, глядя то на Степана, то на старшего сына. Потом, придя в себя, сказала объездчику:

— Уходи...

Голос у нее был спокойный.

Объездчик понял, что никогда больше не попадет в этот дом. И со злостью сказал:

— Еще раз застукаю... Без хлеба зимой останетесь!

Он выскочил, гремя коваными каблуками сапог...

Илья увидел, что мать напугалась. Глаза увлажнились, а губы задрожали.

— Чего сталась? — спросила она сурово. — Ты, Толька, опять нагадил? Вас видели?

— Ничего я не делал, — ответил подавлено тот и с мольбой посмотрел на брата.

— Сурчина вас с ботвой застукал? Я спрашиваю у тебя, Илья?.. Или опять корзину у кого-то украли!

Илья молчал, спокойно глядя в лицо матери.

— Ты хоть один раз можешь что-нибудь вразумительное сказать! — вдруг крикнула мать. Ее губы посинели. Руки задрожали. — Целый год уже молчишь!

— Я больше не пойду с Толькой за ботвой, — серьезно заявил Илья.

— Куда не пойдешь? — спросила мать. — Почему?

— Он осины в лесополосе режет.

— Ну, и что? — удивилась мать, не понимая, о чем говорит сын. — Эта осина, как трава... Чего о ней жалеть?.. Новая вырастет!

— Не вырастет... — серьезно ответил Илья. — Не успеет!

— Да черт с ней... с осинкой!

— Ага! — недовольно возразил Илья.

Перед его глазами вдруг разукрасилась знакомая картина: их село, река, луг... Проплыло лицо пастуха Афанасия и исчезло. Его сменили другие, но не совсем четкие. Они возникли откуда-то издалека. Стали приближаться. И среди них мальчик узнал лица матери, отца, брата... Они приблизились и остались очень маленькими, точно игрушечными. А другие, незнакомые, окружили его. Илья почувствовал, что сейчас он стал вдруг старше брата и даже взрослей матери. И

догадался, что эти незнакомые лица — лица его детей.

И уже глядя на мать, как на человека, который далеко-далеко от него, сказал:

— Если каждый день по три осины резать... До осени всю лесополосу изведет. А на другой год — другую.

— Сдалась тебе эта лесополоса!? — громко возмутилась мать. — Про теленка бы думал!

От слов матери мальчик вздрогнул. И лица, напуганные громким голосом, стали быстро удаляться. Мальчик закрыл на мгновение глаза, надеясь вернуть видение. Но его уже не было.

Илья внимательно посмотрел на мать, понимая, что лица исчезли, потому что испугались ее громкого голоса. и сказал:

— А я про него и думаю. — И добавил: — Где будут прятаться мои дети, когда пойдут гичку красть!?»

ОРЛУША И СЦЕВОЛА-МАКСИМОВ

По радио каждый час передавали «бюллетень здоровья». А между ними играла тяжелая, давящая музыка. Подстать ей угнетала и погода. С обеда натянуло черни на небо, повалил густой снег.

Владик за столом читал учебник по «Родной речи». Нужно было к завтрашнему уроку выучить, где родился Пушкин, и заучить наизусть «У лукоморья». Он несколько раз прочел стихотворение, но музыка прогоняла певучие слова про кота, русалку, волка и уносила мимо памяти, точно злая собака из подворотни отгоняет лаем прохожих. Принялся читать про жизнь поэта.

— Бабушка, а где у нас Немецкая слобода? — спросил он, прочитав в учебнике, что Пушкин родился в этой самой слободе.

— У нас слобод не бывает. Здесь есть Печерск, Подол... Вот мы с тобой живем на Лукьяновке.

— А почему Пушкин не жил у нас?

— Каждый живет, где дозволяется... Да и крыши над головой для твоего Пушкина не нашлось. Бараков было мало в то время, когда жил твой Пушкин... — объяснила бабушка, и предложила: — Владичка, давай выключим радиу... — Выдернула вилку из розетки. — Одни страхи нагоняет. Ироды нечестивые услышат и нашьют какую беду на нас... Гляди, как вдруг мести стало. За полдня окно с половины уже залепило... И ты про немецв-

иродав... Не к добру... Ты уроки не сделаешь...

Вытянутое лицо бабушки, схваченное широким ободом белой косынки, всегда выражало равнодушие и безразличие ко всему, что происходило вокруг. И только две большие черные точки глаз, всегда настороженно ждущие чего-то, выдавали внутреннее состояние старухи. Сейчас, предлагая выключить радио, и, поминая нечистую силу и какую-то беду, которую могли принести «бюллетени» и музыка, глаза говорили, что самое беда и нечестивцы бабушку не занимают, а говорит она о них, чтобы отогнать другие, гнетущими мысли.

И действительно, вокруг сразу стало тихо и спокойно. Комната точно увеличилась в размерах — стены как-то вдруг посветлели, а потолок поднялся. И от печки пошло жаркое тепло.

— А как мама добираться домой станет по такой метели? — с тревогой спросил мальчик. — Скоро смене конец.

— Маме близко. Вот, как ты в школу по такой снеговерти пойдешь? Утонуть недолго...

— А разве в снегу утонут?

— В высоком снегу можно. А что в нем замерзнуть, что в воде утопнуть — никакой разницы для человека нет. Снег и вода — одно и то самое.

За стенкой что-то тяжело ухнуло. Из коридора долетели чьи-то торопливые шаги. Дверь комнаты отворилась, вбежала мать.

— Слыхали!? — Женщина, не сбрасывая фуфайку, шальными глазами принялась искать радиоточку.

— По такой погоде куда же можно ходить, чтоб слушать? — спросила бабушка. — Да и за ветром ничего не слышать. Воить голодной волчихой...

— Радио-то включите! Помер!.. Только-только сообщили. Ой! Чего это будет!?

Владик смотрел на мать и не мог понять, почему ее губы дрожат, а глаза переполнены слезами. Было видно, что она с большим трудом сдерживает себя, чтобы не заплакать.

— Слава Богу, — почему-то спокойно сказала бабушка. — Отмучился сердешный. Она принялась креститься, глядя в дальний угол комнаты, где под потолком висела маленькая иконка. — А нам еще из-за него ой как мучится... И за какие грехи нам такая ноша?.. Ты, Катерина, совсем пришла или только, чтобы

сказать?

Но мать подскочила к радиорозетке и воткнула в нее вилку.

Из бумажной головы вылетел трагический голос:

— «Закатилось солнце над миром. И никогда человечество не увидит его света. Тьма и неодолимая боль сковывают души вечным льдом...»

— Ты мальчонке чего принесла? — спросила бабушка, бросая взгляд на невестку и глядя на внука. И сейчас ее глаза горели беспокойным огнем, выказывая внутреннюю нервозность. — А то я в очередь за хлебом в такую заметь не дойду. Не доберусь... — И выдернула вилку из радиорозетки.

— Да какой сейчас хлеб, мама?! — взволновано сказала Катерина. — Что ждать-то нам? И в столовой пирожки не пекли... почему-то... Опять война?.. Когда же это кончится!? А я так надеялась купить штук пятьдесят... Отнести на Лукьяновский базар... Там хорошо разбирают по рублю...

Она суетно принялась вставлять вилку в розетку. Но ножки никак не попадали в отверстия.

— «Погасло навсегда солнце над нашей родиной... И теперь будет вечный мрак...» — прогудела вдруг бумажная тарелка.

— Брешет твое радио, — спокойно сказала бабушка. — Что война началась, утром уже все знали... Бомбы в начале шестого рваться стали... На базаре сказали, что одна прямо в заводской нужник угодила... который на Брест-Литовском стоит... Я помню, как смердело целую неделю... До нас доносило... А твое радио только потом узнало... После обеда — Старуха выдернула розетку. — И мальчику уроки делать мешает. Раздевайся и давай свеклу тереть... Скоро шесть часов. Ужинать пора... За дровами еще сходить бы... До утра печка выстудится...

— Я не буду свеклу есть, — сказал Владик. — Надоела.

— Почему?

— Потому что я утром уже ел... И вчера... И позавчера... А Додька Кальницкий шоколад вчера себе купил... Лучше капусту, чем эту красную кашу... Я в погреб за капустой спущусь?

— Ты, Ладуся, потерпи день-другой, — попросила бабушка. — Снег, вишь, какой. До погреба не доберешься... Полночи сугроб отгрести... И пенсию нам с тобой почтальон может и не принести завтра... Не пробьется через заносы. А принесет — мы тоже шоколаду

купим. — И строго спросила невестку: — Катерина, а у тебя когда платят?

— По шестым числам. А теперь и не знаю... Если помер — могут и не заплатить...

— Спаси и сохрани... — Бабушка снова принялась креститься, глядя на икону в углу.

* * *

В школу не пришли многие.

Владик сидел на второй парте в третьем ряду, что тянулся вдоль окон. Сидел один — его сосед не пришел. Пустовала и первая парта, отделявшая Владика от стола учительницы.

Учительница, маленькая, полная женщина с черной тощей косой, завернутой вокруг круглой головы, одетая во все черное, молча сидела за столом, перелистывая страницы классного журнала взад-вперед. Но урок не начинала.

Вошел директор. Он шепнул училке что-то на ухо и вышел.

— Дети...— Она встала у доски и принялась мять пальцы одной руки ладонью другой. — Умер товарищ Сталин. Надо...— Запнулась, явно пугаясь ожидаемой реакции учеников на то, что собралась сказать. — Горе всем нам... Решили у портрета... который в вестибюле школы... поставить венок... Самая лучшая память — выложить имя товарища Сталина на венке пионерскими значками... — И потребовала: — Кальницкий и Максимов... соберите значки.

С последней парты первого ряда поднялся круглый, толстый Давид Кальницкий и пошел вдоль парт.

Услышав свою фамилию, Владик удивился, почему поручили ему, а не старосте. Но поднялся и, перед тем, как идти собирать, отстегнул свой пионерский значок.

Значки свалили в кучку на столе.

Учительница пересчитала. И сказала:

— Все могут идти домой. Занятия теперь десятого марта. Во вторник. И передайте тем, кого нет...

А десятого учительница, как только вошла, встала у доски и, взяв в руки маленький листочек, принялась читать:

— Закатилось солнце над миром. И никогда человечество не увидит его света. Тьма и неодолимая

боль сковывают души...

Владик смотрел в окно, наблюдая за парой синиц, которые суетно клевали черный предмет, похожий на сухую корку, положенную кем-то на подоконник.

«Зачем забрали пионерский значок? — думал он. — Мама новый не купит... И этот я выпрашивал... А эта, как радио, читает... «Закатилось!.. Закатилось!..» Лучше бы значок вернули... Венок уже засох... наверное».

— Погасло навсегда солнце над нашей родиной... — продолжала читать учительница. — И теперь будет вечный мрак...

Прилетела третья синица. Уселась сверху на корку... Птицы принялись толкать друг друга. Корка понемногу съезжала по косому подоконнику и упала на землю. Птахи, испугавшись, улетели. Владик, увлеченный борьбой птиц, поднялся из-за парты и, сам того не понимая зачем, решил заглянуть за окно...

— Максимов, ты чего делаешь? — строго спросила учительница. — О чем думаешь!?

Владик остался стоять, и смущенно ответил:

— А почему на улице светло?

— Так десять часов утра, Максимов. День на улице.

— Так вы же говорите... солнце навсегда закатилось?

Учительница дернулась, точно ее кто-то ударил. Начала искать рукой опору и, не найдя, словно спасая себя от падения, визгливо крикнула:

— А ну, убирайся вон из класса! — Руки у нее дрожали. И Владика показалось, что она стала еще шире и черней.

Владик вынул из парты портфель и вышел.

Прошел мимо серо-зеленого, от пола до потолка, портрета Сталина. Постоял у венка, решая — забрать значок или оставить. Но хлопнула какая-то дверь. Максимов нырнул к вешалкам. Снял с крючка свою худую фуфаячку, напялил шапку с длинными висячими ушами-шлейками, и вышел на улицу.

Шел домой, не минуя сугробов.

«Хорошо, что товарища Сталин умер! — подумал он. — Из класса выставили... Целый день свободен... Если бы Додьку Кальницкого со мной выгнали, мы бы в кино сбегали... Нет... Плохо... Значок забрали... Да и товарищ Сталин всегда думал о нас... А теперь думать некому... Совсем с голоду помрем, как он... — На него налетела веселость. Усмехнулся радостно: — Вот умирал бы каждую неделю какой-нибудь из тех, кто про нас думает...»

Но веселость из души прогнал едко-мерзкий запах

паленой резины, который стал заполнять улицу серым облаком, которое ветер нес со стороны Кабельного завода.

* * *

Бабушка сидела в коридоре у примусного стола, отрывала белые длинные ростки с картофельных клубней.

— Ты чего так рано, Ладуся? — спросила она, увидев внука.

— Бабушка, а хорошо, что Сталин умер? — с порога спросил Владик.

Бабушка перекрестилась и сказала:

— Конечно, плохо. Человек... хороший. Если бы не выгнал меня и маму из села, когда колхозы ставили, то мы бы там и померли с голоду... И тебя бы не было... Ты роздевайся... Я собралась картошку варить...

Отворилась входная дверь в барак. В коридор вбежала соседка Титовна, большая, высокая женщина.

— Слышала, Трофимовна! — громогласно, на ходу сбрасывая синюю фуфайку, воскликнула она, стуча по полу галошами, отряхивая строченные ватные валенки от снега. — Говорят... амнистию в Москве придумали!

— А это чего такое, прости, Господи? — спросила бабушка.

— Бандюг выпускать начнут! — громко сказала соседка.

— Это которых? Врагов народа? Докторов недавних или которые за колоски?

— А кто знает?

— Господи, прости и сохрани... — Бабушка торопливо перекрестилась. — Если за нитки... Хорошо... А если, которые за татьство... Не доведи, Господи...

— Подумаешь, напугали этими бандюгами!? — Титовна скрылась за дверью своей комнаты. Вернулась и, словно Левитан из бумажной тарелки, сказала: — Даже если Фука вернуться! И чего? Бояться его?.. Через месяц раскурочить какую кассу и — назад в тюрьму.

Владик посмотрел на соседку. Монументальность ее фигуры и громогласность родили в его голове уверенность, что «амнистия» — это плохо и опасно.

— И все-то ты, Дуся, знаешь, — сказала бабушка, пересыпая картошку из кастрюли в кастрюлю. — Завидую...

— А как по иному? В тюрьму... Из тюрьмы на месяц домой... Потом — опять...

— Чего только месяц? Живи себе сколько можешь...

— Ты скажешь, Трофимовна! А как без денег-то жить? Кого это у нас на работу берут, которые из тюрьмы вернулись?.. Вона, Орлуша? После первой тюрюги погулял годок. Кого-то пырнул ножичком — опять в тюрьму... А ведь тоже вернется, шалава! Обязательно кого-нибудь пырнет, как прошлый раз...

Она взялась накачивать примус. Подожгла его. Поставила на огонь кастрюлю. Открыла крышку и, зачерпнув ложкой содержимое, отхлебнула, пробуя. Сплюнула на пол, и с презрением, крикнула:

— Тьфу! Какая ж гадость этая костомаха! И кто это придумал, чтоб человек харчи для себя из всякой дряни готовил!? Хоть день цельный ее вари, а все одно — вода водой! В радиве только и слышно... «С мясом хорошо!» С мясом точно хорошо. Это и коту помоешному известно... А вот без мяса — плохо! — Утерла губы концом фартука. — И еще вона говорят, что теперь вместо понижения первого апреля будут заставлять подписываться на облигации... — Евдокия Титовна снова попробовала варево. — Заразы! — Она со злостью швырнула ложку на стол — та с грохотом запрыгала лягушкой по столу. — И сразу на три зарплаты... Штоб вы подавились вашими облигациями!..

Слово «облигация» испугало Владика.

Он хорошо помнил, как мать вместо новогоднего подарка, — обещала купить на рынке мандарины, чтобы повесить на елку, — пришла домой после заводской смены, обливаясь слезами, и в отчаянии крикнула: «Опять заставили на облигации подписаться!.. Добровольно!.. На всю зарплату... Опять будем только одну катрошку с капустой жрать!..» А бабушка тихо сказала: «Видит Бог. Знал, что так будет. Дал картошку и капусту. А что на цельную зарплату... это хорошо. Могли бы, ироды человеческие, и на пять заставить добровольно... Слава Богу, пенсию за невинно убиенного на войне носят. — И чтобы успокоить невестку, мягко и певуче добавила: — Вона, Сидоровна, из седьмого барака, на рынке давеча говорила, что ходила во власть. Там сказали — ей и ее внукам пенсия не положена... Потому что сын ейный без вести пропал. Пояснили: если бы при каком начальнике военном убили или сам застрелился возле писаря... тогда бы и детей его кормили.

А так не положено... А вдруг он сейчас у какого палача Тита или висельника Ранковича служит...»

Владик прильнул губами к теплому уху бабушки, и шепнул:

— Зачем нам облигации?

Бабушка не ответила. Повернула лицо в сторону соседки и с укоризной сказала:

— И откуда у тебя, Дуська, такой рот черный? Накличешь беду на наши головы с твоими облигациями... Вона, дитя пугается... Ладуся, иди в комнату.

* * *

Через неделю бабушка, вернувшись с рынка домой, недовольно сказала внуку:

— Ладушка, видела сейчас твою учительницу. Жалуется на тебя. Балуеться на уроках. Говорила, что не переведет тебя в четвертый класс...

— Ничего я не балуюсь, — ответил Владик. — У меня только одна тройка по-английски. А за поведение не оставляют на второй год.

— ...и если не перейдешь в четвертый класс, — продолжала говорить старушка, сосредоточено копошась в плетеной из рогозы корзине, — я Орлуше скажу... когда из тюрьмы вернется. Он тебя нашлапает.

Катерина, штопавшая у стола на грибке дырявые самовязанные носки, услышав недобрые слова свекрови, недовольно сказала:

— Что вы, мама, мальчика этой бандюгой пугаете!

* * *

Амнистии и облигации — новости для взрослых.

А по детским ушам пролетел более важный слух.

* * *

Прибежал Додька Кальницкий, — он жил в бараке на противоположной стороне их переулочка, — круглолицый, с большой недетской бычьей холкой, напоминавшей положенный на шею мешок. Расхристанный, задыхаясь от распиравшей его важной новости, зашипел:

— Ладей, деньги есть? — Его рыжеватые, чуть

курчавые волосы выбивались из-под шапки-ушанки. И едва приметные веснушки от волнения вдруг набухли и еще больше порыжели.

— Сколько? — осторожно спросил Владик.

— Шесть рублей.

— Чего покупать?

— Не покупать! Братуха сказал, что с понедельника у нас в клубе будут пускать «Тарзана». И сразу четыре серии подряд. Каждую неделю по одной. Понял? Это кинушко лучше даже, чем «Королевские пираты» и «Сети шпионажа».

— А он откуда знает?

— С ним в цеху сын кассирши работает... А сегодня уже среда. За билетами сбегает. Предварительная касса в пять вечера открывается. Надо быть первыми!

— У меня нет денег... — смущенно признался Владик.

— Так у бабки возьми... — шептал Давид, опасливо косясь на входную дверь комнаты. Он нервно дергал себя за полы расстегнутого пальто, словно хотел выпрыгнуть из него. — Десять рублей всего. На три серии хватит. А на последнюю где-нибудь достанем. Бутылки на Лукьяновский базар к Соломону снесем. Он дает за одну на пять копеек больше, чем в гастрономе.

— У нас нет денег.

— Так... — запнулся Додик. — Так вчера почтальонша пенсию носила. Твоей бабке тоже принесла.

— А у тебя есть деньги?

— Если бы...

«Если бы были, — подумал Владик, — ты бы не пришел. Я тебя знаю. Как на мои «арахис» покупать, так едим пополам. А как на твои — так мне одну фасолину из кулька, а себе — две».

Но сказал, соглашаясь:

— Иди, занимай очередь. Только договорись, чтоб в третьем или во втором ряду... Я попрошу денег.

Давид убежал, унося с собой радостную надежду.

Владик вышел в коридор, где бабушка возилась у примуса, и попросил:

— Дай десять рублей.

— Додька для этого приходил, чтобы деньги выдуривать? — подозрительно спросила она.

— Нет. На кино.

— Так билет стоит полтора целковых.

— А это «Тарзан». Три серии.

— Ой, брешет твой Додька, как сивый мерин, —

сказала бабушка, тревожась. Вошла в комнату, порылась в комод и протянула внуку две зеленых трехрублевки. — Ой, брешет...

— А как брешет сивый мерин? — спросил Владик. Ему действительно хотелось угадывать — говорит ли товарищ правду или обманывает.

Бабушка растерялась, не зная, что ответить. И сказала:

— Как, как?.. Как твой пузатый Додик брешет, так и мерин.

Внук взял деньги. Набросил на себя фуфайку, сорвал с вешалки длинноухую тряпичную шапку и, натягивая ее на ходу, побежал в клуб.

Билеты купили в первый ряд.

Пришли на сеанс почти первыми. Разделись. Давид втиснул толстое тело между подлокотниками, а пальто положил на колени. Владик бросил свою фуфайку на сидение, уселся сверху: выше — лучше видно.

Зал заполнился быстро. По проходу стали ходить какие-то взрослые парни, отыскивая пустующие места. Но, не найдя, подошли к Владиду и Додику, и один сказал:

— А ну катись, шпана! Дай посидеть людя?м!

— У нас билеты, — недовольно ответил Додик, глядя в пол.

— Сейчас, Пузо, в глаз получишь. Пошли вон отсюда!

— Ну, давай, — сказал Владик. И вспомнив слова бабушки, повторил: — Орлуша вернется! Он тебя пошлет...

Борьба за место перед экраном мгновенно прекратилась. Настырный захватнический порыв претендентов угас вдруг. Они молча отошли.

Ночью, лежа в постели под одеялом с открытыми глазами, Владик радостно рисовал в воображении неведомого ему Орлушу. Этот всемогущий заступник предстал перед глазами большим и добрым, но почему-то очень похожим на белопростынного Вайсмюллера, бесстрашного американского хозяина африканских джунглей.

* * *

Два рабочих барака, лепились к высокой каменной стене Кабельного завода, образуя узкий двор, засыпанный серо-черным шлаком. То, что называлось

человеческим жильем, походило больше на увесистые, длинные железнодорожные шпалы, пропитанные черным креозотом, только накрытые рубероидом. Ближние торцы их выходили в узкий переулок, а дальние соединял между собой ряд дровяных сараев, как перепонкой.

Первым из тюрьмы вернулся сухой, завяленный старик.

Он появился в узком дворе между бараками в конце мая.

— Фимка Фуркас пришел, — сообщила Титовна громовым басом на всю кухню.

Бабушка повторила слова соседки маме, когда та вошла в комнату после заводской смены. Старушка всегда говорила о ком-то или с мягкой добротой или со злым отвращением. И сейчас сказала, словно подбросила полено в печку — лишнее тепло не помешает.

И Владик понял: Фуркас — это хорошо.

По утрам Фуркас выносил во двор табуретку, ставил у входной двери барака, садился, и неподвижно сидел до вечера, выгревая в лучах солнца костлявое тело, разукрашенное синими картинками. Он был худ, черноморщинист, лыс и беззуб. Кашлял тяжело и надрывно, долго отхаркивался. Бесперывно курил, меняя во рту одну за другой самокрутки, выпуская из ноздрей и рта густой сизый дым. Со стороны казалось, что старик плавает в синеве облаков. А самосадный дым, распозаясь по узкому двору, заполнял все межбарачное пространство, проникая в окна комнат, наполняя их ядовитым смрадом. Но жители бараков не возмущались. Появляясь во дворе, почтительно кивали Фуркасу. А тот в ответ поднимал благодарно руку и кланялся.

Окно комнаты, где жил Владик, выходило как раз на середину двора и на входную дверь соседнего барака. Мальчик садился на широкий подоконник и с пристальной жадностью разглядывал старика. Привлекали, загадочно-замысловатые рисунки на руках и спине. Особенно ему нравился орел, который, разметав большие крылья с правого плеча на левое, скалил раскрытый клюв в беззвучном клетоте. В когтях птица держала голую толстобедрую женщину с неподъемными круглыми грудями и развивающимися длинными волосами. Когда старик выдувал из ноздрей жирный ядовито-сизый дым, то казалось, что орел парит в облаках. Когда же Фуркас начинал кашлять, орел

взмахивал крыльями нервно, пытаясь улететь за тучи, чтобы не отравиться горелым махорочным запахом. И мальчику виделось, что птица вот-вот выпустит женщину из лап, и она упадет и, ударившись о черный шлак двора, разобьется...

— А почему дед Фуркас, как книжка? — спросил Владик. Он заморожено разглядывал непонятные рисунки на серой коже Фуркаса.

— Какая еще книжка? — удивленно спросила бабушка.

— Ну, как мои «Сказки Андерсена». Картинок много... Погляди.

Старуха подошла к окну, взглянула на сгорбленную фигуру Фуркаса и, участливо наклонившись над внуком, тихо сказала:

— Не жилец.

* * *

В начале августа в узкое пространство между бараками въехал черный «ЗИМ»-такси с белыми шашечками вдоль борта, напоминавшими шахматную доску. Задняя дверь автомобиля широко распахнулась, и на черную землю ступил невысокий худой парень лет двадцати пяти в сером макинтоше. Шея окинута белым шарфом. Из-под широченных чесучовых клешей светло-шоколадного цвета высвечивались черные лакированные туфли. На голове пристроилась морская фуражка, как сорока, случайно присевшая на куст,

Таксист выставил на землю два фибровых чемодана, окованных хромом по углам. Пассажир запустил в карман руку, достал пачку денег и, демонстративно выдернув пятидесятирублевую бумажку, небрежно протянул ее шоферу. Поднял с сидения коричневый саквояж и вразвалочку пошел к бараку.

— Здорфо, Орлуша! — сказал Фуркас, не выпуская из губ самокрутку.

Приехавший в полуулыбке выкатил золотую фикса и, выстрелив сквозь стиснутые зубы слюной-иглой, ответил:

— Здорова, Фука. Ты давно с кичи?

— Сетыре месяся. — Старик затянулся крепко. И залившись тяжелым кашлем, спросил: — Где оттыхал?

— На Баме. Тысяча десятый перегон... Перед Ургалом. Знаешь?

— Слышал, слышал про гэтую зону, — ответил Фуркас,

кивая головой. — От Улькана далехо. — И окинув Орлушу оценивающим взглядом, спросил: — Ты, никак, на общаке чалисья?

— С чего взял? — Орлуша протянул руку Фуркасу.

— Дюше фартовое шмотье на тебе.

Орлуша не ответил. Он прошел мимо Фуки, задев полый макинтоша колени старика.

Когда приезжий скрылся в темноте барачного коридора, Фуркас вынул изо рта самокрутку и презрительно сплюнул в сторону. Орел на его плечах, как показалось Владуку, тоже недовольно взмахнул крыльями и захотел улететь. Но выпускать женщину не собирался, словно боялся, что она достанется приехавшему.

Из барака выбежали два парня, подхватили чемоданы. Но понесли почему-то не в дом, а в дровяной сарай.

— Кослы!.. — Проводил их взглядом Фука.

* * *

Во дворе готовилось застолье. Сколотили длинный стол. На табуретки уложили доски и накрыли их газетами. Над столом повесили электрическую лампочку.

Мать Орлуши, грузная седая старуха в красно-желтом замызганом халате, ковылявшая на кривых слоновьих ногах, накрывала: выставила на столешницу граненые стаканы, вывалила гору оловянных ложек. Иногда из барака выходил разодетый Орлуша и, оценивая суету, одобрительно кивал, непрерывно подергивая левым краем верхней губы, вываливая желто-блестящую фиксу. Затем он ушел со двора куда-то и вернулся с двумя полными авоськами: в одной — пять буханок хлеба, во второй — дюжина бутылок «Московской водки».

Увидев гору хлеба, Владик взволнованно позвал бабушку и, указывая на серые хлебные кирпичики, выложенные на стол, зашептал, сбиваясь дыханием:

— Орлуша без очереди хлеб принес! И водку вместо денатуры... Давай и мы сходим. Спросим у Орлуши... и сходим за хлебом...

Бабушка поцеловала внука в стриженую голову и тихо ответила:

— Чтобы хлеб быстро из магазина носить, нужно в тюрьму сперва сходить... У нас с тобой не выйдет. — И

добавила: — И, слава Богу.

— Давай, сходим! — предложил внук, не справляясь с дыханием. — И ты не будешь ночью ходить очередь занимать.

— Ой... — вздохнула бабушка, сожалея, не зная, как бороться с нечаянной детской радостью. — Я уж лучше лишний раз до света встану.

Двор заполнился неизвестными людьми. Гости были похожи друг на друга: флотские фуражки, широкие клеши, папиросы в зубах, плевков после каждой затяжки. И обязательный мат.

Были две женщины.

Васька, младший брат Орлуши, рассаживал гостей.

Во главе стола сидел Орлуша и принимал поздравления. Выпивая, громко говорили, кричали и бегали целоваться с виновником сходки.

Стали петь под гармошку.

— Видать, в тюрьге хорошо, — сказала мама, слушая застольный гул.

— Почему? — спросил Владик, наблюдая за гулянкой с подоконника через открытое окно.

— А где ж на воле столько денег взять, чтоб половину Лукьяновки и Куреневки поить и от пуза кормить.

В самый разгар веселья Орлуша вдруг подозвал к себе брата и шепнул ему что-то на ухо. Вася, выслушав, кивнул и, побежал в барак. Вернулся со стулом. Определил его у противоположного от Орлуши края стола и, остался стоять, нервно поглядывая на входную дверь.

Из барака вышел человек в коричневой шляпе и черном однобортном костюме. Под ним треугольник груди была прикрыт морской тельняшкой. У левого лацкана пиджака висели две звезды на георгиевских лентах. Ниже — шесть медалей в ряд.

Награды цокали, ударяясь друг о дружку. Их серебряный капающий звон заставил всех замолчать.

Владик не сразу узнал в этом человеке Фуркаса.

Тот уселся на принесенный стул, снял шляпу и долго вытирал платком вспотевшую лысую голову. Затем взял бутылку водки, ладонью смял белый сургуч на горлышке, словно свернул шею куренку, и коротким хлестким ударом в доньшко выбил бумажную пробку. Придвинул пустой стакан и стал наливать. Рука дрожала. Горлышко билось о край стакана, и это дрожание гулко разносилось по двору в немой тишине.

Старик встал, сжимая в кулаке наполненный стакан

и, глядя на Орлушу, сказал:

— Дафай, корефан, са то, што ты вернулся с кичи шифой. И тусофка у дубка у тя по делу. Но фот те мой басар... Савясывай... Больше лафы на соне не буить. И корешам скаши.

— Ты за шо базаришь, дед!? — перебивая, громко крикнул молодой парень лет двадцати, сидевший по правую руку от Орлуши. — Не шелести листопадом. Мы — не асфальт. Давай по делу.

Фуркас опрокинул содержимое стакана в рот. Закрыв глаза и сжал тонкие губы, морщась.

— Пять фосемь отменят скоро. И на соне уше гулять некого буить. А с братвой не сагуляешь.

— Ты за чего гундосишь, Фука? — спросил Орлуша, улыбаясь.

— Ты снаешь, са чего, — спокойно ответил Фуркас.

Он уселся. Снова налил в стакан водку и выпил. Но теперь лицо его уже не морщилось. Дотянулся до огурцов, что горкой лежали на столе, и макая в соль, принялся жевать.

— Шо это за фраер? — снова закричал Орлушин сосед справа. — Кто его сюда звал?

— Уймись, Гиббон, — попросил Орлуша. — Это — Фука.

— Да кто он такой!? — крикнул недовольно парень, которого называли Гиббоном.

— Ты че, Гиббон? — сказал кто-то полусшепотом с заискивающим благоговением. — Это Фука-шнифер.

— Шнифер! Фифер! — взвился Гиббон. — Ты погляди на него! Сука он, а не шнифер! Ссучившийся! Цацек навешал! Думает, шо мы тут — фуфло!

— Заткнись! — обозленно крикнул Орлуша. Вскочил с места и повесил кулак перед лицом Гиббона.

— Кинь его, — попросил небрежно Фуркас. — Луше выпьем са тебя, Орлуша, и за всех наших, которые есть... И которых нету... — Он налил, поднял стакан, выпил залпом. Протер губы тыльной стороной ладони и громко выдохнул. И продолжил жевать огурец.

— С сучарой пить!? — не унимался Гиббон. — Западло!

Фуркас наклонил голову и о чем-то тихо спросил Васю. Тот ответил. Фука одобрительно кивнул и, протягивая расписанную наколками руку за куском хлеба, сказал:

— Послушай, херой... А папашку твоео, случаем, не Мартыном Фомисем по ксиве пишут?

— А тебе какое дело!? — нервно ответил Гиббон.

— Знашить, я угадал. Ты — Мартышкин сын... Очень правильную кликуху тебя кодро вяпало, обезьянья порода.

— Попишу суку! — Гиббон вскочил. — Я за папашу!..

— Сядь, падла! — Орлуша ударил соседа в плечо. — А ты, Фука кончай гундосить не по делу!

— Я этого суку!.. — не унимался Гиббон, но уже без прежнего запала.

— Вот эту штуку... — Фуркас поддел пятиконечную звезду на георгиевской ленте большим пальцем левой руки, — я полушил са то, што твово боеово папашку из расдолбленного миной блиндаша в санбат на себе притаранил... Фартофый ханыга для родины окасался твой папашка, если за его поганую душонку такие свесды вешают. А снаешь, кто был твой папашка на фронте? — Фуркас указал большим пальцем правой руки себе за спину. — Думаю, никто не снает... Он, небось, всем хвалится — командир батальона... — И сделал паузу, добавил: — Батальона... Только штрафного... Только он не командовал, а за нашими спинами с пэпэшой наперевес хоронился... А до войны кумом в Лукьяновской тюрьге чалился... В сорок первом, когда фрис к самой Демеевке бычарой пер, он много наших пасанов пострелял... Братская могила в Быковне до сих пор стонет. — И снова сделал паузу. — В Лукьяновке — в затылок... И на Быковню — в яму... А на фронте трясса, что мы, штрафнички, к немцу перебехим... Мы — навоз... А его за это... обязательно бы к стенке поставили!.. Вот он — настоящая сука... Если бы я на фронте про его херойство тюремное знал... в том блиндаже подыхать оставил... Вот он ссучился еще перед тем, когда мать родила. Наверно, в каком райкоме секретарит сейсас?.. — Фуркас тяжело вздохнул. — Давай, Орлуша, выпьем за души пострелянных Мартышкой... А ты, Гиббон, если на сону сагредишь... меньше помелом маши. Держи са субами. А то после первого же слова до утра не доживешь... Это тебе мой совет.

Фуркас вдруг закашлялся громко, задыхаясь. Схватился за грудь. У него горлом пошла кровь.

Вася подхватил старика, приподнял со стула и повел в барак.

Кровь Фуркаса развалила пьянку. Публика быстро, незаметно разошлась — лампу даже не включали.

Когда двор опустел, Владик спросил у мамы:

- А что такое пять-восемь?
- Господи! — воскликнула мать. — Рано тебе знать!
- А — шнифер?
- Зачем тебе это!? Тоже хочешь в тюрьму!?

* * *

Утром, одетый в серые габардиновые клеши, обутый в желтые сандалии, Вася убежал куда-то. Вернулся через час в будке узконосой желтой санитарной машины-фургона с красным крестом на макушечном фонаре. Санитары вывели Фуркаса под руки, осторожно усадили в фургон и увезли.

А ближе к обеду во двор пришли пятеро парней. Владик среди них признал только Гиббона. Они долго стояли у входной двери барака, переталкиваясь резкими жестами, словно каждый отбивался от остальных.

В барак вошел сам Гиббон. Через несколько минут он вернулся в сопровождении Орлуши. Зло кричал, изображая неотомщенную оскорбленность:

— На больничку, сучара, подался! Я его и там достану!

— Вали отсюда, — сказал Орлуша.

— Не понял? — презрительно сказал Гиббон, искривив пренебрежительной гримасой лицо.

— Я за понял четыре года сидел, — ответил лениво Орлуша. — Вышел, и не понял... Забудь дорогу к Фуке. Это тебе говорю я. Понял? — И скрылся в темном коридоре барака.

Компания еще несколько дней к ряду приходила во двор. Сразу интересовались: есть ли дома Орлуша, а потом шли искать Фуркаса.

Но Фуркас больше не появился.

* * *

Бабушка по привычке поднялась среди ночи. Долго собиралась, шурша юбками. И ушла. Утром, собираясь на работу, мама разбудила Владика и приказала:

— Пойдешь в гастроном на угол Хрущевской дачи. Там бабушка стоит в очереди за мукой. Встанешь вместе с ней... — И объяснила: — В одни руки только по два килограмма дают. Возьмете четыре... Перед первым сентября испечем пирогов с малиной и черной смородиной. В школу возьмешь.

Двор гастронома шумел и толкался.

Владик отыскал бабушку в толпе. Они простояли до обеда.

Но неожиданно голова очереди загудела недовольно, народ стал расходиться.

— Пошли, — сказала бабушка.

— А мука? — спросил недовольно внук. — Мама говорила, что пирожки к школе хочет испечь.

— Кончилась наша мука, — ответила бабушка. — Придем домой, я дерунов натру. Они вкуснее.

— А, может, где есть еще мука? — спросил Владик.

— Есть, да не про нашу честь, — ответила бабушка, глядя внука по голове. — И нас пока туда не зовут.

— А когда позовут?

— Как рак свистнет.

— А как рак свистит? — спросил Владик.

— Так же, как щука поет, — вздохнула бабушка.

Они шли молча.

Настроение у Владика было отвратительное — сладкая мечта о пирожках, какие мама пекла вкусными-превкусными, сменилась горьким чувством обиды. Ему казалось, что его и бабушку обворовали, отобрали последнее. И чтобы не думать о пирожках, он принялся решать для себя задачу: где можно услышать свист рака или песню щуки.

А вечером в комнату вошел Орлуша. Он осмотрел пустые побеленные мелом стены, пошарил взглядом по столу. Но Владика, который сидел на диване, казалось, не заметил.

Мать суетно порылась в комодке, достала деньги и протянула гостю.

— Пятьдесят хватит? — спросила она.

— Хватит.

Орлуша ушел. А утром следующего дня принес три больших пакета.

— Почти десять килограмм. Нормально?

— Спасибо, Саша, — сказала мать. — Я с работы на работу. У парня скоро день рождения... Без тебя совсем праздника не было бы...

— Храни тебя Господь, — проводила бабушка Орлушу. И когда закрылась за ним дверь, повернулась лицом к красному углу и перекрестилась на маленькую икону.

— Обещал еще сахар принести, — сказала мама. — А ты Владика им пугала.

— Значит, правильно, что сидел в тюрьме, — сказала бабушка утвердительно. — Из него человека сделали.

На следующий день после работы мама вбежала в комнату радостная.

— Слава Богу, наконец, талон на дрова выдали! Успеем попилить и порубить до морозов, — сказала она, швырнув халат на стул. — Завтра пойду на лесосклад.

— И я с тобой, — сказал Владик.

— Тебя там не хватало, — вмешалась бабушка. — И зачем завтра? Воскресение ведь...

— А когда же народу по своим-то делам ходить, если всю неделю на работе? — резонно объяснила мама.

* * *

Владик вскочил с постели рано, чтобы не проспять поход на лесосклад. Тому была веская причина. В прошлом году, когда ходили на лесосклад, на обратном пути мама купила шоколадное мороженое «эскимо». Правда, не большую пачку за 2 рубля 40 копеек, а маленькую за 1 рубль 20. И сейчас у мальчика была тайная мечта — выпросить у мамы большое «эскимо».

«Мама купит обязательно, — уверял он себя. — После первого апреля на двадцать копеек подешевело... Теперь два двадцать уже».

Наскоро умылся и уселся за стол в ожидании завтрака.

Бабушка поставила привычное блюдо с подсолнечным маслом, нарезала мелкими дольками луковицу и торжественно поставила на середину стола глиняную миску, накрытую полотенцем.

— Вот и Орлушины приношения, — сказала она и сдернула тряпочку. В миске горой лежали свежее испеченные оладьи. — Воскресение... Праздник Господен.

Владик взял один оладушек, мокнул в масло и принялся есть.

— С луком будет сытнее. — Мама пододвинула ближе к сыну белую луковичную дольку и солонку.

— А когда будут сладкие? — спросил мальчик.

— Как Орлуша сахар принесет, — ответила бабушка. — Наварим варенья. А пока будем с маслом да солью. Что Господь послал, тому и радоваться надо. Еда не хуже, чем у соседей. — Она повернулась лицом к иконе и перекрестилась.

Оладьи доели с чаем из мяты. Но то же не сладким.

* * *

У въездных ворот лесосклада, словно на коновязи, стояли три тачки с большими колесами. Их оглобли вздымали к небу свои худые шеи. В стороне под тенью старой лдипы толкался народ. Увидев маму, из толпы выскочил худенький парнишка в синей безрукавке и черной кепочке. Заискивающе спросил:

— Куда везти, мадам?

— В бараки на Баггоутовку, — ответила мама.

— Сколько берете?

— Три куба.

— Так мы уже везем, — сказал весело парень.

— Давай, — согласилась так же весело мама.

— И за скоко?

— Как в прошлом гуду.

— Разве я возил дамочку у прошлом годе? Я тут бригадир. Я всех помню.

— Возили.

— И за скоко?

— Сорок рублей, — сказала мама.

— Ну, ты тетка даешь! Теперь уже нету таких денег. Теперь куб стит...

— А ваша цена?

— Сто, мадам.

— Пятьдесят.

— Побойтесь Бога, мадам!

— Мне еще нужно сыну в школу тетради купить. И мороженое.

Бригадир отошел, переговорил с товарищами и, вернувшись, сообщил:

— Вы купите вашему сыну большое мороженое, мадам. Мы согласные на шестьдеся. Идите. Пусть вам Готлиб отмеряет. А мы отвезем.

Дрова теснились черными штабелями вдоль длинного забора. На середине двора стояло какое-то подобие телеги, по углам которой были приляпаны высокие толстые трубы. На телеге сидели два парня и курили.

Мама вошла в деревянный домик у входа и вышла оттуда в сопровождении толстого высокого человека в очках, в гимнастерке и жеваной тряпичной шляпе.

— Ванькэ! — приказал толстяк. — Накидайте три куба!

Двое поднялись с телеги, подкатили ее к штабелю. Принялись бросать между труб длинные поленья. Положив слой, они подхватили большой пень, что лежал

на земле рядом со штабелем, походивший на полулысого большого ежа с несчетным количеством сучков, с трудом погрузили его на телегу. Рядом бросили еще один такой же. Все пространство по бокам пней закидали толстыми кривыми поленьями. Пустот в телеге было больше чем дров.

— Вы чего делаете!?! — возмутилась мать. — Это кто пилить и рубить эти горбыли будет!?

Но парни, не обращая внимания на возмущения женщины, продолжали набрасывать в телегу кривые сучковатые бревна.

Мама подбежала к хозяину склада.

— Посмотрите, что они делают!?! Разве это дрова!?

— И шо такое, дамочка?

— Одни пни!

— А развэ пень — не дрова, дамочка?

— Их же не распилишь!..

— Если вам не нравится, так не берите. У нас для усех дрова одинаковые.

— Как вам не стыдно?! — отчаянно выкрикнула мама.

— Так заберите вашй талон от мене, — равнодушно сказал человек в очках. — Я вам его винису.

Мама стояла в растерянности. Было понятно, что из палок и пней, которые набросали в мерную телегу, настоящих дров напилятся мало. Не хватит на всю зиму.

Владик видел, что глаза мамы налились слезами. Она хваталась за косынку, стараясь зачем-то теребить ее, будто за этим кусочком голубой материи скрывалась защита. Ему хотелось выхватить толстую палку из дровяного штабеля и ударить ею хозяина дров по толстому животу — пусть не обижает маму!

— Ты чего тут делаешь, Катерина? — раздался голос за спиной.

Владик обернулся.

Рядом стоял Орлуша и жевал папиросу.

— Ты чего плачешь, девушка? — спросил он удивленно.

— Дрова ворует... — Мать, не сдерживая слез, указала на толстяка.

— Готлиб, чеши сюда! — окликнул Орлуша очкарика. И тот торопливо подошел. — Если ты ссучился — это твои дела. А хорошую бабу зачем забижаешь? Не надо... — И вдруг, прищутив зло глаза, закричал: — Мы тут ташкентские зехеры не хаваем, падла! А то я быстро твои лупатые стекляшки с носа на задницу натяну!

Прямо тут! Хочешь!? Отсиделся, сучара, на саксаулах и аксакалах! А за тебя ейный мужик голову сложил на фронте! Ты знаешь про это, козлина!?

— Орлуша, ми же свои люди, — сказал Готлиб угодливо. — Никакого базара.

— Никакого базара!? Иди и грузи, что положено, змиюка очкастая!

Двое грузчиков второпях освободили мерную телегу. Стояли рядом, ожидая развязки перебранки.

— И такие дрова кидай, — приказал Орлуша, — чтоб эта баба токо пиляла! Понял? У ней дома нету топора! И, не дай Бог, толстые дрючки покладешь! Крест на твою могилу из них сколочу! Выверну кишки наружу и по забору твоего склада, как сетку, повешу! Ты понял, Готлибер вонючий!?

— Орлуша, ми уже договорылись, — сказал Готлиб, пытаюсь улыбаться, и пошел к мерной телеге.

От ворот склада за руганью с любопытством наблюдали хозяева телег.

— Эй, Штопор! — окликнул Орлуша кого-то из них. — Отвезешь дрова у мой двор. Я рассчитаюсь.

— Не стоит, Саша, — благодарно сказала мама. — Я заплачу.

Орлуша ушел со двора.

Владик проводил его благодарным взглядом.

Мать уже не плакала. Молча топталась у дровяной стенки, наблюдая, какие поленья укладывают грузчики. Было видно по всему, что ей больше всего хочется поскорее убраться со склада, чтобы не чувствовать себя виноватой в случившемся скандале.

Она сунула деньги кому-то на выезде со склада, и они с Владиком ушли.

По пути домой остановились у гастронома, в витрине которого за большим стеклом стояли треугольные пирамиды из банок: черных — с икрой и белых — с крабами.

— А что такое икра? — спросил Владик, читая надпись на банке.

— Рыбу ловят и достают из нее, — объяснила мать. — Как мак. Только крупнее.

— А ее тоже нужно тереть?

— Нет.

— Давай купим.

— Давай, — согласилась мама. И объяснила: — Только «эскимо» ты десять лет есть не будешь... А мы с бабушкой

хлеб... Только воду пить, и то раз в день.

— Лучше «эскимо», — согласился Владик.

— Большое?

Мольчик подумал и сказал:

— Маленькое... И сто грамм «арахиса».

Мама купила большое мороженое и полкило конфет.

* * *

К первому сентября готовились загодя. Мама сшила новую курточку из шести разноцветных суконных лоскутов. В нагрудные карманы вшила золоченые молнии. На воротник нашила белый воротничок, выгладила красный галстук и два носовых платка. Из комода вынула новые штаны. Достала из-под кровати большую коробку, а из нее пару парусиновых коричневых ботинок.

— Ой, как жалко, — вздохнула бабушка. — Все такое красивое... И ровно на неделю, — После школы пойдут в футбол гонять. И забывай, что новое... Колени зеленые, а в карманах только грязи не хватает...

— Мальчику в старом и рваном ходить? — недовольно спросила мама.

— Да, нет, — согласилась бабушка. — А сколько не говори — после школы домой. Все равно пойдет мяч пинать. И в новых ботинках.

А вечером тридцать первого августа лепили пирожки: Орлуша перед тем принес три килограмма сахара.

— Цветов бы... — сказала бабушка, раскатывая скалкой тесто на столе.

— Пусть девки цветы носят, — недовольно буркнул Владик, — а в мальчишнюю школу они не нужны.

— Понимал бы чего, жених, — улыбаясь, сказала мама.

— Я не жених, — серьезно заявил Владик.

— Вырастешь — женишься, — уверенно сказала бабушка. — Без этого нельзя.

— А мне можно.

— Почему? — спросила мама.

— Орлуша ведь не женится.

— Нашел на кого равняться... — вздохнула тяжело мама.

— И что же ты за человек такой? — словно обидевшись, поддержала ее бабушка. — Нашел с кем на ровнях тягаться. Он же в школу не ходил, никогда в книгу не заглядывал. Ничему путнему не выучился. А

ты должен быть, как горный инженер.

— Я не хочу, как горный инженер, — ответил Владик, хмуря брови и морща лоб.

— Я гляжу, ты никак хочешь стать, как Орлуша? — спросила весело мама и посмотрела на сына. Но веселость медленно угасла на ее круглом лице. Ямочки на щеках исчезли. Радость во взгляде сменилась нервной тревогой.

Владик смотрел на мать не моргая. Маленькие черные зрачки, сдавленные широкими голубыми кольцами, излучали неколебимую недетскую решимость. Мать поняла: сын что-то втайне задумали, и была уверена, что исполнит, чего бы это ему не стоило. И это ее испугало.

— Ладушка, миленький, — сказала она, сама не зная, о чем говорить с сыном. Ей вдруг захотелось заглянуть в душу мальчика, увидеть, откуда и почему растет эта пугающая недетская решительность и молчаливая вера... Губы ее задрожали.

Три года назад, в августе, она возила Владика к своей сестре в Полтаву. Гостили три недели. Собираясь обратно, чтобы загодя приготовить сына к первому классу, мама сложила в чемодан недоношенные рубашки и штаны племянника, который был старше Владика на два года, увязала чемодан толстой веревкой, чтобы в поезде никто не открыл случайем, и не похитил бесценное добро... Уже подошло время идти на вокзал. Взрослые еще возились во дворе. Вдруг из комнаты раздался обиженный плач племянника. Напуганные мама и тетя вбежали в дом и увидели рыдающего третьеклассника Глеба, неумело пытающегося отобрать у Владика большую книжку с яркой картинкой на обложке, которую Владик молча запихивал между стенкой чемодана и веревкой.

«Ты что делаешь?! — возмутилась мама. — Это чужая книга! Тем более ты не умеешь еще читать! И «Сказки Андерсена» — это для третьего класса!»

Владик решительным взглядом оттолкнул от себя мать и, не обращая внимания на плачущего брата, продолжал упорно втискивать книгу...

Мать попробовала отобрать, но сын вцепился ручонками в толстую желтую обложку и, молча прикрыл чемодан худеньким телом.

Брат Глеб плакал, растирая кулаками глаза...

«Оставь, — сказала тетя, мамина сестра. — Пусть

берет. Из него будут люди».

«А Глеб...» — нерешительно возразила мама.

«Я ему новую куплю. Да и читать он их не любит. Так... от жадности ревет...»

Сейчас мать увидела тот же решительный и непоколебимый взгляд, и с ужасом осознала, что ее сын уже что-то для себя решил... И эта его решимость испугала.

— Не надо, сынок... как Орлуша, — взмолилась мама.

— Он же бандюга! — крикнула бабушка. — По магазинам ворует!

— Это он для вас бандюга, — сказал Владик. И помолчав, добавил: — И его все боятся.

Женщины озадаченно переглянулись и прекратили разговор.

Мать взяла наклепленные пирожки и вышла из комнаты.

* * *

Утром, перед тем, как проводить внука до двери, бабушка открыла портфель и положила на дно пять пирожков, завернутых в газету.

— На большой перемене съешь три... — приказала она. — А два — когда уроки кончатся.

— Хорошо, — отмахнулся внук. Схватил портфель и выбежал из комнаты.

С ночи первого сентября накрапывал дождь. Мелкий, почти незаметный. Казалось, что с деревьев ветер сбрасывает тонкие гарусные нити. А они, упав на землю и разлетевшись на мелкие бусинки, сверкают крохотными алмазами на черном шлаке двора.

Выйдя со двора в переулок, Владик натолкнулся на Додьку Кальницкого.

— Здорово, Ладей, — сказал Додик.

— Привет, Пузо, — ответил Владик радостно. — Я думал тебя куда увезли насовсем. Ты где все лето был?

— С братом в Алуште.

— А это где?

— В Крыму... На море. Черном. А ты где?

— Здесь.

— Че делал?

— Про Робин Гуда читал. И про Робинзона Крузо.

— А это про кого?

— Про человека. Он один двадцать лет на необитаемом

острове прожил.

— Без людей? — удивился Додик. — А чего можно одному делать? Даже кина у него не было?

— Какое кино? — удивился Владик. — Это было триста лет назад.

— Что было триста лет назад совсем не интересно.

— А что интересно?

— Если бы писали, где бабки взять?

— А что такое бабки?

— Ты че — дурак? Такого не знаешь? Деньги.

— А почему они называются так?

— Я почему знаю? Орлуша все время так говорит...

Слышал, у нас в классе два новых, — недовольно сообщил Додик. — Вчера вечером Мишка Белоус приходил. Сказал — они в том доме живут, что для вояк построили. Их батя и матя в училище, которое возле кладбища, служат. Набьем им морду?

— Просто так? — удивился Владик.

— Ну и пусть...

— А если они нам набьют?

— А я Орлуше скажу. Он им врежет!

— А если Орлуша не захочет? — усомнился Владик.

Они вывернули со шлака переулка на булыжники Овруцы. — За просто так... ведь нельзя.

— Че ты сразу — нельзя!? Надо! — уверенно сказал Додик. — И Орлуша захочет. Мы с ним теперь кореша. Он у нас в Алуште в гостях был. У моего брата. Они на пляже вместе карты катали... И во!.. — Пузо подсунул под нос Владиду мизинец левой руки. У самого ногтя вокруг пальца была выколота узкая чернильная ленточка. — И мы закорешились. Понял?

— Это чего? — с волнением спросил Владик.

— Наколка... Теперь понял?..

— Вдвоем будем бить морду? — усомнился Владик.

— Позовем Альку Митропольского с Нагорной... Будешь бить морду?

— А Митропольский не будет.

— Почему?

— Его со двора на улицу не выпускает батя, — твердо ответил Владик. — А я... Будет за что — набьем.

Пока шли к школе, Кальницкий, распыхавшись, убеждал побить новичков. Но Владик его не слушал. Неизвестные одноклассники его не занимали. Он думал о наколке. И вдруг спросил:

— Больно было?

— Че больно?

— Когда кололи...

— Не-а, — ответил Додик. — Чуть-чуть.

— А мне можно?.. Наколку...

— А тебе за что? За просто так?

— А тебе за что? — спросил Владик.

— Потому что мой братувха и Орлуша — кореша! И я теперь — ему корешь. — Додик замолчал. А потом гордо сказал: — У нас вчера вечером пили... И Орлуша в Сочи поехал.

Дома Владик спросил маму:

— А Сочи — это где?

— На море. Откуда мандарины возят на Новый год.

— Где всегда тепло?

— И дров не надо, — с завистью сказала бабушка, слушавшая разговор.

* * *

За зиму об Орлуше забыли.

Он вернулся к Пасхе. Приехал на «Победе». Вышел из машины в распахнутом коротком бежевом пальто с поднятым воротником. Грудь от шеи до живота резал желто-красный полосатый галстук, на одной из полосок которого сидела обезьяна и играла на саксафоне. Узкие серые в мелкую черную клетку брюки с широкими манжетами обтягивали тонкие худые ноги. Он, казалось, даже подросток — коричневые туфли на толстой рифленой подошве глядели тупыми носами к небу. Но самым привлекательным в его виде был набриолиненный кок.

Владик заметил, что Орлуша перестал выпячивать фикса на глаза людям.

А утром по двору стал ходить Вася с явным желанием покрасоваться: в светлых дудочках, в клетчатом зеленом пиджаке и черных туфлях на «манной каше». Только прическа выдавала в нем лукьяновского урку — заштатный двухрубевый полубокс оголял его короткую бычью шею. Он сходил в нужник, дважды — в сарай, и долго стоял у входной двери барака, словно кого-то ожидал, выкуривая одну за другой сигареты.

Бабушка, возвращавшаяся из магазина, увидев Васю, долго разглядывала его, а, войдя в комнату, сказала безглаголиво:

— И у нас уже стилиаги. Как мухи плодятся.

— А это чего? — спросил Владик.

— Глянь сам.

Владик прильнул к закрытому окну, но успел увидеть только спину, обтянутую зеленой клеткой.

* * *

В чистый четверг, когда Владик вернулся из школы, бабушка заставила его обрывать верхнюю одежку у луковиц. Она ранним утром ходила на рынок за яйцами, и сейчас готовилась красить их в луковичной шелухе.

В комнату неожиданно вбежала соседка Титовна. Вид у нее был растерянный.

— Ой, Трофимовна! Слышала!? Гастроном на Татарке ограбили! Ночью!

— Упаси нас Господь перед святыми днями! — Бабушка перекрестилась на икону. — И спросила: — У тебя, Дуся, ваниль найдется? Щепотка? Хотела Владика послать, так теперь и не купишь. Ограбили...

А когда соседка ушла, она тихо сказала:

— Орлушины дела... — И попросила внука: — Ладушка, сходи в сарай, принеси мелких дровишек. Куличи начнем печь.

— А пирог с маком? — спросил Владик. Ему нравился не сам пирог, а сладкое сырое тесто.

— Если мак натрешь... испеку, — согласилась бабушка.

— Натру! — радостно крикнул внук и убежал во двор.

Комната переполнилась ароматом ванили и корицы.

В субботу Владик вернувшись из школы перед обедом, застал бабушку в хлопотах. Она укладывала в плетеную корзинку поверх куличей и пасхи крашенные яйца. Одевалась нарядно, как мама, когда шла на первомайскую демонстрацию, только в длинную темно-зеленую юбку и белую блузку. Повязала белую косынку — и сразу с ее головы исчезли седые волосы.

— Я с тобой пойду, — попросился Владик.

— Я к Николе Доброму на Подол, — сказала бабушка. — Это далеко. Устанешь идти. Лучше учи уроки.

— Совсем не далеко, — ответил Владик. — Мы на трамвае.

— Только нехристи на трамвае ездят пасху святить, — объяснила бабушка недовольно.

Старушка набросила на себя серый плащ, подхватила

корзинку и ушла.

Долетел гудок с «кабеля», отбивая начало обеденного перерыва.

Через несколько минут в комнату вбежала мама.

— Бабушка где? — торопливо спросила она, радостно запыхавшись.

— В церковь куличи понесла.

— А ты почему не в школе?

— Нас за металлоломом послали... На еврейское кладбище ломать ограды...

— И ты пошел!? — строго спросила мать.

— Не-а. Домой пошел. Теперь по поведению двойку поставят.

— Ну и ладно, — весело отреагировала мама. Бросила на стол что-то большое, завернутое в красноватую бумагу. — Сходи, сынок, за водой на колонку. — Она торопливо сняла плащ и синий рабочий халат.

Владик с ведром отправился на улицу.

Когда вернулся, то увидел мать, стоящую на коленях посреди комнаты. Перед ней на бумаге лежала половина свиной головы. Мама размахивала топориком, стараясь разрубить ее на мелкие кусочки.

— Вот повезло нам, сына, — сказала она, радостно улыбаясь. — Слава Богу, полголовы досталось! Принеси большую миску из коридора. Сейчас вымоем... Я поставлю на примус вариться. А ты будешь следить, чтоб не сбежало. Сварим... На неделю хватит, если понемножку есть...

Владик принес большую эмалированную миску.

Мама управлялась топором неумело. Кусочки мяса отлетали в стороны.

— Давай, Ладуся, поруби и сложи в миску, — сказала она, поднимаясь. — А я примус разгоню. А то уже обеденный перерыв кончается. Если опоздаю — премию снимут.

— А чего будет с этой головой? — спросил Владик. Встал на колени, взял в руки топорик.

— Как чего? — спросила мама, недоумеая. — Мы уже давно мяса не ели. Вот... к празднику. Только ухо и пяточок не изруби. Отдельно сварим. Бабушка очень любит с хреном...

Мама вышла в коридор. Из-за двери слышался недовольный шум примуса.

Мальчик отрезал ухо, полпяточка. Разрубил аккуратно голову на маленькие кусочки, и отнес маме.

— А почему только половина? — спросил он.

— Это у Орлуши спросить надо, — торопливо ответила мать. — Кому-то, может, тоже обещал. А, может, его мать сейчас вторую половину варит... Ты к Додьке не ходи, сына, а следи. Если сбежит варево — примус ты без бабушки не разгонишь... А вариться должно долго... Ну, я побежала...

Она, надевая его на ходу халат, выскочила во двор. Вечером бабушка и мама собирались к Всенощной.

— Возьмите меня, — попросил Владик.

— Не выстоишь, Ладушка, — пожалела бабушка внука. — Мал еще.

— Выстою, — твердо заверил внук.

— А уроки? — нашла отговорку бабушка.

— Я их еще в школе сделал.

— Так это, если читать. А те, которые в тетради писать?

— Писать ничего не задали. Арифметику я всю решил. Нам задали задачи на площадь... Треугольник, квадрат и круг.

— А если трапеция? — спросила мама. В вопросе был явный подвох.

— Я про такое не читал, — ответил Владик серьезно.

— Это как бы треугольник с обрезанным верхом, — объяснила мама. — Как дом без крыши.

Владик задумался. Он представил себе треугольник. И в сознании нарисовал дом без крыши.

Мама и бабушка уже одевали плащи.

— Тогда от большого треугольника надо отнять маленький, — объяснил Владик. — Который отрезанный.

Бабушка посмотрела на маму и, поняв из ее взгляда, что внук ответил правильно, сказала:

— Ты у нас, как горный инженер. Только за Орлушей не ходи.

— Я хочу с вами, — насупив лоб, стоял на своем Владик.

— Ты же был в церкви уже, — сказала мать, повязывая косынку.

— То было днем. А сейчас — ночью.

— Ну... — сдалась бабушка. — Давай возьмем. За это Господь не наказывает.

— Одевайся, — согласилась мать. — Только веди себя хорошо.

— И креститься надо с правого плеча, — заметила бабушка. — Воистинну по-христиански.

* * *

Владик однажды уже ходил в церковь. Она запомнилась ему серой, даже черной. Свет, проникавший сквозь окна, что поддерживали высоченный купол, оставался в вышине и не опускался, чтобы осветить стены. И внутри от слабого огня редких свечей стены и иконы казались испачканными, как улицы ранней весной, которых некому убирать.

Перед алтарем стояла большущая дубовая бадья. Рядом двое мужчин держали на руках младенцев.

«Что они делают?» — спросил Владик.

«Пришли детей крестить», — ответила бабушка.

«А всех детей надо крестить?»

«Обязательно».

«Почему?»

«А как же храниться человеку от напастей? Нехристь всегда в какую-нибудь беду попадает. Болеет... Ворует... Или когда иную какую дрянь делает христианскому люду».

«А я — крещеный?»

«А как без креста. Я тебя покрестила».

«А фрицы — нехристи?»

«Креста на них нет! — сказала бабушка. — Басурмане христопродавные!»

Из царских врат вышел седой поп в голубой рясе.

Бабушка поцеловала ему руку и отдала какую-то бумажку.

Перекрестилась на иконостас и сказала внуку:

«И ты крестись, Ладуся». — И показала связку из трех ногтей.

Владик сложил свои пальцы, ударил ими себя в лоб, опустил руку и упер пальцы в живот. Потом прикоснулся к левому плечу...

«Так — грех, — остановила бабушка. — Сразу — в правое. А потом...»

«А если бы у меня была только левая рука? Вон сколько без рук ходит. У нас в классе учитель рисования без руки. Как они крестятся?»

«Типун тебе на язык! — возмутилась бабушка. — Крестись, и пошли».

Когда вышли из церкви, бабушка повернулась лицом к входной двери и перекрестилась три раза.

По дороге Владик спросил:

«А почему ты Додика называешь нехристом?»

«Потому что он в другой храм ходит».

«К другому Богу?»

«Бог у всех один. А храмы разные. У нас — крест, а у них — звезда. Потому он в ее честь и Давид...»

«А давно он в другой храм ходит?»

«Очень давно. Раньше все в один ходили. А теперь — в разные».

«Это как?»

«Вы в класс сейчас вместе ходите. А когда школа закончится, каждый в свой храм пойдет. Додик в магазин продавцом или артистом в какой цирк...»

«А я?»

«А ты должен учиться, чтоб как горный инженер был».

Для бабушки этот инженер всегда был высшим мериллом успеха. Владу не хотелось быть горным инженером. Он не любил высоты.

«А почему Додик не ходит в церковь?»

«У него другой храм. Мы в свой ходим, а Додик — в свой. На свете так смиренней жить. И на душе спокойней».

«А разве Бог в душе?»

«Обязательно».

«А ты говорила, что он на небе».

«И на небе».

«И там и там?.. А как же он успевает?»

«Для того и крестят маленьких детишков, чтоб с неба в душу благодать сошла. От Господа. Чтоб человек с измальства не брал греха на душу».

«Душа, как большая комната?»

«Большущая».

«А что с теми бывает, кто берет грех на душу?»

«Их благодать покидает. И Господь карает».

«В тюрьму сажает?»

«У Господа нет тюрьмы. Он совестью человека изводит. Сделает кто какую пакость... Грех на душу возьмет... А Господь ему говорит: «Ты мои заповеди не считаешь. В грязь их топчешь». И после таких слов ходит человек по земле и совестью мается... А такая маета страшнее всяких околотов. Наказание Господне страшнее всяких казенных домов...»

Но подошел трамвай. Бабушка посадила внука на ступеньку. И поехали.

Трамвай гремел и мешал разговаривать.

* * *

Сейчас та же церковь была совершенно иной.

Тесно. Мужчины — без фуражек, женщины — в платках. Все непрерывно крестятся, сосредоточенно глядя перед собой в пустоту поверх голов. Стены, высоченный купол, сверкают и пылают ярким огнем. У икон на больших золоченых блюдах-подставках в чашечках горят янтарно-темные свечи. Пламя колеблется на черной нити, словно кто-то невидимый дует на него, пытаясь погасить. А огонь, сопротивляется, извиваясь с неистовым упорством, и вспыхивает с новой силой, возносясь к небу.

Пахло чем-то пряным и сладковатым.

В глубине, у красочной стены, где рядами были поставлены иконы, чей-то бас пел. Слова песни подхватывал невидимый хор, и они словно птицы кружились над головами людей, не находя себе места на земле.

Владиду хотелось увидеть певца. Но со своего малого роста он видел только спины впереди стоящих.

В церкви все было вновь. И не зная, как себя вести, чтобы было правильно, решил следить за действиями бабушки и повторять их. И крестился.

Бабушка почему-то посмотрела в сторону, и ее лицо вдруг потеряло благостность. Глаза вспыхнули недобрый огнем. Владик тоже посмотрел в ту же сторону... и увидел Орлушу. В бежевом пальто с поднятым воротником, с ленточкой галстука, на котором, как на ветке, сидела обезьяна. Он крестился, закрыв глаза, чуть запрокинув голову.

Бабушка приблизила губы к уху мамы и сказала:

— Пришел гастроном замаливать!

Мама тоже посмотрела в сторону Орлуши и ответила:

— Таких Бог прощает первыми.

Бабушка в ответ тяжело вздохнула и, торопливо крестясь, прошептала:

— Спаси и сохрани нас, Господи, смертью смерть поправ...

И невидимый хор неожиданно подхватил ее слова...

Из церкви шли пешком.

На улице было темно. Редкие фонари, похожие на широкополые шляпы, покачивались на столбах, выхватывая из темноты кусочки тротуара.

Шли долго.

Мама, стройная, высокая, казалось, не идет, а плывет. Ее туфли на толстых каблуках почти не касались земли. А бабушка рядом с ней тяжело ползла, подметая длинной юбкой улицу. Ног не было видно, и казалось, что это движется тротуар, и везет ее на себе.

— Христос воскрес! — раздался голос за спиной.

Их обогнал Орлуша. Он встал перед женщинами и, расставив руки в стороны, преградил дорогу.

— Христос воскрес! — повторил он. Обнял маму. Они три раза поцеловались. Затем он поцеловал бабушку.

«Орлуша — нехристь! — подумал Владик. — А целуются...»

Но женщины промолчали. А Орлуша исчез в ближайшей подворотне.

Миновали гастронорм на углу Половецкой улицы и Баггоутовки .

Бабушка подошла к сторожу, сидевшему на стуле у входной двери. Они похристосовались. А когда вошли в свой переулочек, она сказала:

— Вот со Студенихой похристосовалась. Хорошо, хоть ее не убили, когда грабили, ироды... А христосоваться лезет.

— Не пойман — не вор, — сказала мама.

— Креста на нем нет, а в церковь ходит... Басурман! Мама принялась расстилать постели.

Владик повесил фуфайку на гвоздь и взялся за ручку входной двери.

— Ты куда это собрался на ночь глядя? — спросила мама.

— В уборную, — ответил Владик.

Он прошел по пустому двору мимо уборной. Подошел к двери сарая, вынул из заветного места ключ, открыл дверь. Войдя, оглянулся, чтобы убедиться, что за его спиной нет никого. Затворил дверь. Снял с полочки свечу, зажег, приклеил горячими каплями парафина к большому пню, на котором кололи дрова, и встал на колени...

Закрыв глаза...

— Смертию смерть поправ, — тихо прошептал мальчик, — сделай так, чтобы и я сделался таким, как Орлуша... Чтоб сходил в тюрьму... — Он трижды перекрестился, не поднимая век. В темноте он видел лицо человека с печальными глазами, которые смотрели на него и излучали свет. — Только чтобы я быстро вернулся домой... И тогда у нас всегда будет мука, сахар

и целая свиная голова. И бабушке уже не нужно будет чуть свет вставать в очередь за хлебом... И маме ходить в ночную смену на «кабель»... И дрова всегда тонкие будут... Я все уроки школьные выучу наперед... Честное слово. Честное пионерское... Ведь в школу можно и не ходить, если книжки дома есть. Это только для Пуза школа нужна. По десять раз об одном и том же спрашивает, а все равно про муку и мешки задачку решить не может... У Альки Митропольского списывает... И чтобы облигаций не было никогда...

Кто-то закашлял вдруг во дворе.

Владик задул свечку. Осторожно вышел из сарая и, стараясь не шуметь, повесил замок.

* * *

В субботу перед первомайскими праздниками мама и бабушка с лопатами пошли копать огород у Кмитова Яра, а Владика посадили возле погреба сортировать прошлогоднюю картошку. Погреба прятались за баракком и тянулись вдоль каменной «кабельной» стены. Их крышки напоминали квадратные шляпки гигантских грибов, только-только вылезшие из земли.

День хоть и майский, но пасмурный и холодный.

Владик возился с картошкой у открытого люка. Мелкие клубни с длинными белыми ростками бросал в верейку. От крупных отрывал ростки и сбрасывал в оцинкованное ведро. Мелочь — на посадку, крупная — на еду.

Из переулка во двор въехали на мотоцикле с коляской два милиционера. Мотоцикл потарахтел и умолк. Резко ударила входная дверь барака. А через мгновение распахнулось окно, и из него выскочил Орлуша в одних трусах. Он ошалело вертел головой, суча взглядом то по высокому заводскому забору, то по дверям дровяных сараев, закрытым на всякие замки.

— Менты есть!? — крикнул он, увидев Владика.

— Не-а, — тихо ответил мальчик.

Подбежав к стене «кабеля», Орлуша несколько раз попытался взобраться на нее, как делает жаба, упавшая в глубокую яму. После третьей неудачной попытки уцепиться за красноватые, гладкие кирпичи, безвольно сдавшись, уселся на корточки и обхватил голову руками.

Владика стало жаль Орлушу.

— Иди, — позвал он.

— Куда? — в голосе Орлуша звенела последняя надежда.

Мальчик показал рукой на крышку погребка.

Орлуша схватился двумя руками за замочную клямку, оторвал крышку от земли, нырнул в дырку, как в иордань, и накрыл себя крышкой. Она с грохотом ударилась о железо рамы.

«Ты че, дурак!» — хотел крикнуть Владик. Но вырвалось только:

— Не надо закрывать!

В окне, из которого только что выпрыгнул Орлуша, показалась синяя милицейская фуражка. Она внимательно осмотрела весь узкий проход между оградой кабельного завода и стеной барака, и исчезла.

Через несколько минут со двора к Владиду подошли милиционеры:

— Ты Орлова не видел сейчас? — спросил один.

— А это кто? — удивленно переспросил мальчик.

— Орлушу?

— Так он уехал, — деловито объяснил Владик, глядя в лицо милиционеру. И попробовал открыть крышку люка.

— Куда?

— А он никому не говорил. — Владик продолжал дергать крышку и смотреть в лицо милиционера уверенным, не моргающим взглядом.

— А ты откуда знаешь? — спросил тот и отвел глаза, не выдерживая напор детского взгляда.

— Видал. К нему какая-то девка приезжала. На «Опеле». Зеленый «Опель-капитан»... Он с чемоданом сел.

— Когда это было?

— Перед пасхой. Я со школы токо-токо пришел.

— А сейчас почему не в школе?

— У мамки сегодня и завтра ночная смена. Надо картошку посадить. А то потом не успеем.

Милиционеры развернулись и пошли.

— Дяденька! — позвал Владик. — Помогите крышку поднять. А то ветром сильно закрыло. — Ему кто-то подсказывал изнутри, что этих людей в синей форме нужно позвать обязательно. Иначе они неожиданно вернуться.

Один вернулся. Встал над люком погребка и, наклонившись, изо всех сил дернул крышку. Она подалась. Милиционер нехотя заглянул в темное, отдающее сырým духом, нутро погребка, побил ладонь о ладонь, отряхиваясь, и пошел догонять товарища.

Со двора долетело громкое тарыхтение заведенного двигателя. Милиционеры уехали.

Когда все стихло, со дна погреба раздался тихий голос:

— Есть мусора?

— Вылезай, — спокойно сказал Владик. — Уехали.

Через мгновение из люка выросла черноволосая голова Орлуши. Он боязливо огляделся по сторонам. Выбрался из холодной, сырой темноты, уселся рядом с мальчиком и, дрожа всем телом, принялся растирать руки, которые покрылись гусиной кожей.

Владик смотрел на него и думал:

«Еще немножко, и все наколки сойдут, как обгорелая кожа после первого загара».

— На окне у меня пачка «Сальве» лежит. И спички, — сказал Орлуша. — Принеси. И рубашку прихвати.

Владик принес.

— Во, суки! Волчары поганые! — сказал он, закуривая. Надел рубашку. Затянулся несколько раз, жадно заглатывая дым, словно давно вовсе не дышал. И помолчав, сказал: — А ты — чувак нормальный.

— За что они тебя? За гастроном? — Владик вспомнил слова бабушки: «Орлушины дела». И сейчас очень хотелось, чтобы Орлуша сам рассказал что-нибудь в дополнение к бабушкиной правде... А потом Владик поведал товарищам в школе, что знает, как обворовали магазин. Но кто это сделал, не скажет никому. Он очень сожалел, что в момент грабежа не был рядом с этим всемогущим и бесстрашным человеком.

Но Орлуша сказал нехотя:

— Ты теперь наш чувак. — Он ежился от холода, но уходить от открытого погреба боялся. Сидел и думал о чем-то своем, искоса поглядывая на въезд во двор. — За то, что не продал, с меня причитается. Хочешь, я тебе куплю мороженого?

— Нет, — отрезал Владик. — Не хочу.

— Че такое, паря?

— Не хочу, и все.

— Ты че... — недовольно спросил Орлуша — меня не уважаешь?

— Уважаю. Тебя все уважают.

Орлуша улыбнулся, довольный, и кивнул согласно.

— А че ты хочешь?

— Сделай мне, как Додьке Кальницкому? — попросил Владик.

— Не понял?

— На палец кольцо. — Мальчик выставил вперед указательный палец правой руки.

Орлуша задумался.

— А, это... — сказал он, словно проснулся. — Это нужно заслужить делом. — Он посмотрел на свои разрисованные руки. — Вот это... — Постучал указательным пальцем левой руки по большому правой. — Я на стреме стоял, когда хавиру у фраера, лимонника золотопогонного, бомбанули... Из Германии два «студера» шмотья притаранил... А это... — На указательном пальце был выколот перстень. — За первую ходку.

— А куда ты ходил?

— Не!.. — рассмеялся громко Орлуша. — Ты нормальный чувак!.. В дом отдыха ходил я... Вот за это... — Правая рука легла на левое плечо, где уместилась длинножалая змея, обвивавшая толстой веревкой обоюдоострый кинжал. — За универмаг на Контрактовой площади... За него я и загремел второй раз на кичу... Но чуваков не сдал... И ты меня не сдал...

Рассказ Орлуши Владика не заинтересовал.

— А что мне нужно сделать, чтобы как у Додика? — серьезно спросил он.

— Как у него не надо.

— Почему?

— У Додьки просто так. Евойный братуха попросил. По пьяни. А за просто так могут пописать на зоне... А то и пришить... Всякая наколка — только за дело.

Владик с сожалением понял, что никогда ему не видать наколки: драться он не любил, а воровать не хотел. И подумал: «А с чем же идти на кичу?» Без наколки он вернется не таким, как Орлуша. И вся жизнь мамы и бабушки останется полуголодной и беспросветной: опять те же стояния в очередях за мукой и сахаром, ругань на лесоскладе, заводские поборы облигациями...

Но въедливая мысль не отпускала.

«А как без наколки идти на кичу?» — спрашивал себя Владик.

Но ответа он не находил.

Хотелось еще раз попросить, чтобы Орлуша сделал наколку. Ой, как хотелось. Но, как только желание пересиливало, что-то внутри начинало больно колоть, сводя зубы, заставляя язык каменеть, не позволяя произнести несколько пустяковых слов.

Владик уселся возле кучи картошки, принялся обрывать ростки.

Орлуша снова закурил. Он затягивался глубоко, вбирая живот. Выпускал дым из ноздрей. И в этот момент напоминал коня на морозе, дымящего белым паром.

— Зачем тебе наколка? — вдруг спросил Орлуша.

— Надо, — не отрываясь от дела, ответил Владик.

— Всем надо, — многозначительно сказал Орлуша, выпуская лениво дым. Он сидел неподвижно, глядя в стену барака. Затягивался не спеша, изредка косился на мальчика, явно чего-то от него ожидая. Но, не дождавшись, спросил:

— Очень хочешь?

— Да, — ответил Владик. Посмотрел на соседа, стараясь понять — предлагает он серьезно или смеется.

— А матя ругать не будет?

— Нет, — твердо стоял на своем Владик.

— Тогда неси...

— А чего надо? — стараясь скрыть радость, спросил мальчик.

— У тебя невыливайка с чернилом есть?

— Есть.

— Вот ее. И возьми у бабки иголку. Только тонкую.

— Сейчас, — радостно согласился Владик. Накрыв картошку полстью. — Только ты крышку закрой, а то я не могу.

— Нет. Сейчас не надо. Вечером. Ты часы знаешь?

— Знаю.

— Тогда в шесть. В сарай принесешь.

Орлуша встал, пошел к окну барака, из которого выпрыгнул час назад. И исчез в нем.

Владик, пересиливая себя, прикрыл крышку на погребе и побежал в дом. Выдвинул нижнюю полку комода, вынул маленькую подушечку, в пухлую щеку которой была воткнута добрая дюжина иголок, выдернул самую тонкую. Схватил чернильницу и выбежал на улицу. Он старался сделать все быстро, чтобы успеть приготовиться до прихода мамы и бабушки.

Спрятал все до вечера в сарае.

* * *

Сквозь дыру в дощатом фронте сарая пробивался еще яркий свет майского вечера.

Орлуша сидел на фибровом чемодане, который привез

на черном «ЗИМ»-е, как на коне, и курил. Перед ним лежал второй с открытой крышкой, наполненный странными серо-белыми кубиками, каждый из которых был перетянут тонкой белой веревочкой. В руках он держал один такой кубик и разглядывал.

Увидев мальчика, Орлуша уложил кубик в чемодан и закрыл крышку.

— Принес? — спросил он. — Тогда садись. — Указал на второй чемодан.

Чернильницу поставил себе между ног.

— Ладей, а как тебя по-настоящему зовут? — спросил Орлуша, обжигая иглу в огне спички.

— Владислав.

— Значит, ты... Владислав Максимов... — Он деловито принялся разглядывать детский мизинец левой руки. — В каком классе?

— В четвертом.

— Тебе уже десять.

— Одиннадцать, — поправил Владик.

Орлуша задумался. Обмакнул иголку в чернила и уколол палец.

От боли Владик вздрогнул. Показалось, что сейчас боль была во сто крат сильнее, чем когда в поликлинике брали анализ крови. И ожидая следующего укола, весь съежился, сжался. Посмотрел на палец, желая увидеть красную кровяную точку. Но крови почему-то не было. На месте укола образовалась чернильная точечка.

Орлуша вынул из кармана белую тряпочку и вытер место укола.

— Говоришь... Ты — Владислав Максимов, — сказал он, макая иголку. — Так не годится у нас... А если чувак с наколкой, то должна быть кликуха. У твоего Додика какая?

— Как обзывают?

— Ну?

— Пузо, — сдерживая слезы, ответил Владик.

— Вот этот точно! — Орлуша оставил на пальце две отметины. — Прямо в десятку. Он толстопузый и горбошей, как старая баба. Это ты ему такую кликуху впендюрил? Молодец! — Иголка еще несколько раз пчелой впилась в палец. — А тебя как гоняют?

— Куда гоняют?

— Ну, ты — редиска. Дразнят как?

— Никак.

Орлуша с удивлением посмотрел на Владика. И

недоверчиво прищурился, сказал:

— Такого не бывает. Ты, небось, отличник?

— Нет, — сказал Владик.

— А теперь тебя будут гонять... — Он задумался на мгновение, морща лоб. — Максом. И всем скажешь, что это я влепил. Понял?

— Понял, — согласился Владик. Ему сейчас было все равно, как будут его обзывать на улице. Он из последних сил сдерживал слезы.

Боль постепенно притупилась. И каждый следующий укол уже был не таким злым.

Орлуша вытер палец тряпочкой и сказал:

— Во! Теперь если кто из братвы увидит... сразу скумекает — ты наш. Только мамке не показывай пока. А если спросит — скажешь... в школе баловались. Понял? А то от твоей бабки не отделаешься по гроб жизни. Взглядом закладывает.

Владик благодарно кивнул, соглашаясь.

— Посиди тут, — сказал Орлуша. — Потом закроешь сарай. А ключ подсунь под дверь. — И ушел.

Владик хотел рассмотреть наколку, но слезы, вдруг набежавшие, которых уже не нужно было сдерживать, заволокли глаза.

Вечером он есть не стал. Пошел в коридор, и в ярком свете большой лампы, — соседские мужики собирались в субботнюю ночь забивать «козла», — стал рассматривать узор. Худой детский палец охватывала тонкая сине-чернильная ленточка. По середине пальца ее разрывал квадратик, а в нем — чуть приметный крестик.

«Это лучше чем у Додьки», — радостно отметил Владик и довольный вернулся в комнату.

Улегся на диван, укрывшись с головой, держа мизинец в ладони левой руки.

Из коридора сквозь дощатые стены, набитые опилками, пролезало хриплое грубое четырехголосье и остервенелый стук. А после восторженного или недовольного окрика «рыба», раздавался тонкий звон граненых стаканов. Игроки пили синий денатурат.

Владик заснул только под утро, когда боль прошла.

Его разбудили шестичасовые утренние кремлевские куранты, выскочившие из бумажной тарелки, словно перепуганные щенки из конуры.

Владик со страхом вспомнил, что не закрыл на замок Орлушин сарай. Выскочил в трусах во двор и набросил

замок...

За завтраком, сидя за столом и макая лук в подсолнечное масло, Владик прятал от бабушки мизинец.

В школе держал палец согнутым, укрывая ладонью от чужого взгляда, как зонтиком. Наколка немножко взбухла, покраснела и назойливо ныла. Хотелось всунуть палец в рот, как делал в далеком детстве, когда ранил руку.

«Скорее бы пятый класс, — думал Владик. — Там на каждом уроке другой учитель. А то наша увидит наколку и всем растрезвонит. К завучу потянет, как Додьку... Маме скажут...»

* * *

Весна с белым черемуховым ароматом и сиреневым цветом пробежала быстро. Весеннее тепло незаметно перешло в лето: в начале июня вылетели из своих домиков молодые скворцы и говорливыми стаями, похожими на черные знамена, на полощущиеся на ветру, носились по садам. Их место в скворечниках заняли наглые бандиты — стрижи.

Оруша появлялся во дворе редко. Но когда приходил, всегда ругался с матерью и братом.

Владик, увидев соседа, выбегал во двор, стараясь свернуть ему на глаза. Но тот, увидев мальчика, молчаливо проходил мимо. И только один раз сказал:

— Как житуха, Макс? — И не дожидаясь ответа, исчез.

«Выходит, мы совсем даже не кореша? — понял Владик, и поплелся в комнату. — Сам же кликуху мне придумал. «Скажешь, что это я...»

Мама обещала взять путевку в пионерлагерь. Но что-то на «кабеле» не сложилось. И взамен она принесла из заводской библиотеки «Трех мушкетеров». Владик зачитался с первой страницы и был даже рад, что никуда не уехал. Он проглотил толстый том и попросил маму принести новую книгу про д'Артаньяна.

Каждое утро он выходил из комнаты с книгой, забирался на поленницу в сарай, ложился на старые вытертые мешки, накрывавшие неизвестно как попавший в их сарай ватный матрац, и читал.

Здесь под крышей было уютно. И в жару, и в дождь тепло и тихо. Сквозь дыру во фронтоне солнце светило с утра до самого вечера. На притолоке и боковинах дыры огромный паук выткал бело-воздушное полотно паутины.

Тень от нее падала на книжку, накрывая страницы чуть заметными темными квадратиками, и незаметно ползла справа налево. Владик неожиданно заметил, что по ниткам теней можно определять время. Бабушка звала его обедать всегда, когда середина паутины наполнила на разворот книги.

И почти в тот же момент начинал гудеть гудок «кабеля»...

Дни летели незаметно.

Как-то утром приехал «газон» и привез толстые пиленые колоды. Шофер сбросил их у двери Орлушиного сарая.

Днем появился сам Орлуша.

Он пришел к сараю, отворил дверь и принялся забрасывать чурбаки внутрь. Набросал десятка два, принялся колоть. Ставил на колоду полено и, лихо забросив тяжелый топор за голову, опускал его на деревяшку. Та раскалывалась пополам, и половинки разлетались в стороны. Владик лежал на поленнице и наблюдал за дровосеком. Худое жилистое тело Орлуши при каждом взмахе топора наливалось силой, мышцы набухали вдруг. И казалось, что он на мгновение становился выше и мощней.

Во дворе появился Додик Кальницкий. Он вел за собой троих мужчин, указывая на входную дверь барака. Забежал внутрь и вернулся вместе матерью Орлуши.. Гости что-то говорили ей. Она указала рукой на открытую дверь сарая и ушла. Убежал и Додик.

Один — в военной флотской форме, но без погон. Китель и брюки были почти новые. Только форменная черная фуражка смята с боков. Другой — высокий, сутулый с седыми усами, в соломенной шляпе, черных брюках широченного клеша и сатиновой безрукавке. Третий — коренастый, с лысой круглой головой. Руки он держал коромыслом, сжав огромные кулаки.

Троица, не спеша, пошла по двору. Остановились у открытой двери сарая и долго молча смотрели, как Орлуша рубит.

Сделав два замаха, на третьем Орлуша спиной ощутил, что на него кто-то смотрит. Он в полсилы ударил топором по полену и, не пытаясь вытащить лезвие из чурбака, медленно повернулся.

— Здорова... — сказал долговязый и, наклонившись под притолокой двери, вошел в сарай. — Как поживаешь не воле?

Топор выпал из рук Орлуши и, утянув за собой полено, упал на землю.

Владик встал на колени, желая получше рассмотреть происходящее. Он видел, как побелело лицо дровосека, а губы задергались. Даже золотая фикса, испугалась и забилась в угол рта.

Орлуша попытался поправить набриолиненный кок, но поднять дрожащие руки не мог.

В сарай вошли двое. Военный без погон тихо сказал:

— Говорят, ты здесь в паханах ходишь?.. Крепко гуляешь... За такие деньги, какие ты с нас в зоне содрал, я бы пяток лет гулял не оглядываясь... Че скажешь, жучила?

Орлуша вдруг упал на колени и схватился за ботинки долговязого.

— Арнольд... — голос дрожал. Орлуша, запрокинув голову, старался ухватиться за взгляд усатого. — Арнольд Григорьевич, я все верну... Все-все... Падлой буду! Сегодня... Сейчас...

— Ты что нам обещал, когда выпускали тебя? — спросил долговязый, которого Орлуша назвал Арнольдом Григорьевичем. — По зоне бегал и обещал? Тебе последние деньги люди отдавали. У блатарей святые заначки на рубли меняли, чтоб ты фотографии живых людей на материк женам и детям отвез. А ты что?..

— Фотографии разослать... — пролепетал Орлуша.

— Разослал? — спросил тихим голосом военный. — Люди тебе за рассылку последние деньги отдали. Надеялись — весточку домашние получат, что они живы... Чтобы ждали живых...

— Товарищ адмирал... Евгений Иванович... Я же...

— Где фотографии, сучара!? — не позволяя Орлуше ответить, хрипло рявкнул из-за спины долговязого третий и попытался наступить на Орлушу, выставив крепкие кулаки.

Тот сжался трусливо, готовый безропотно принять побои.

Но здоровяка остановил долговязый. И попросил:

— Александр Александрович, не ругайтесь. Не надо. Мы же с вами, слава Богу, уже не в лагере.

— Удавлю гниду! — прохрипел здоровяк, раздувая ноздри.

— Я завтра все фотографии перешлю, — с мольбой заявил Орлуша. — Падлой буду!.. — Он, не поднимаясь с колен, подтянул к себе чемодан, открыл его, выхватил

оттуда кубик и, приставив к глазам, стал читать: — Захаркиной Пелагее Фоминишне перешлю... Город Ржев... Захаркину Ивану Ивановичу... Город Апрелевка... Я завтра все... Всем-всем... — В голосе звучала мольба обреченного. Орлуша свернулся в клубок и стал напоминать собаку. Владуку показалось, что он лижет ботинки. Вот только перегородка между сараями мешает разглядеть виляющий хвост, который вдруг вырос.

— Ты ни одной не переслал, — с сожалением сказал Арнольд Григорьевич.

— Так кум сам мне сказал, что пять-восемь никогда не выпустят... Всех приказано закатать в землю... Вас же на смерть назначили. Всех... На каторгу... Он так и сказал: «Вражинам большевиков выхода отсюда нет и не будет вовек!..»

— Так ты еще... — на Орлушу шагнул коротыш с кулаками-булыжниками, — и стукачом подъедался, гаденьш!

— А что тут удивительного? — сказал долговязый, продолжая удерживать товарища. — Умри ты сегодня, а я завтра. Правда, Евгений Иванович?

— А мы, видишь, мразь, не умерли, — сказал военный без погон.

— Я все для вас... — взмолился Орлуша. — Я принесу деньги, товарищ адмирал... Все возьмите. — Он вдруг запустил руку в карман и достал часы. — Вот... Золотые... «Луч»... С браслетом... Он тоже золотой...

Арнольд Георгиевич тяжело вздохнул, посмотрел на товарищей и сказал:

— Оставь это дерьмо себе. Как это у вас говорят?.. Запахло? Вот нам даже стоять с тобой рядом запахло... Я бы тебя... — он замялся, — да опускаться до твоего не стану... Фотографии собери.

Орлуша бросил на колоду часы, резво подхватился, уложил под крышку вынутый кубик фотографий, закрыл замки и, подцепив чемоданы, понес из сарая.

Гости вышли следом. Двое взяли чемоданы, и они ушли со двора.

Орлуша проводил лагерников взглядом. Вернулся в сарай, надел на руку часы, уселся на колоду и сказал:

— Пошли вон, падлы! Правильно вас кум отстреливал! Жалко, не всех!

Закурил. Сделав несколько затяжек, задрал голову и принялся пускать дым кольцами. Но вдруг громко

рассмеялся и с презрением сказал:

— Дерьмо собачье!.. Вражины народные! «Александр Александрович, не ругайтесь. Не надо. Мы же с вами, слава Богу, уже не в лагере...» — передразнил Орлуша долговязого, кривляясь. — А у меня махру клянчил, как последняя шмара! Надоели! Людям нормально жить не дают!.. Интеллигенты вонючие! Ниче, скоро вас обратно в зону загоним! А оттуда —на погост!

Владик чувствовал, как в его душе благоговение и любовь к этому человеку превращаются в ядовитогорькое, больно бьющее, переламывающее презрение к самому себе. Оно заполнило собой нутро, не позволяя дышать. Было ощущение, будто это он с согнутой собачьи спиной, только что елозил по земле. В горле застрял ком... Чтобы не задохнуться, Владик попытался раздавить его, обхватил шею тонкими пальцами... и не удержался на коленях. Упал, и локтем столкнул книгу. Она сорвалась и, цепляя поленья в дровянице, полетела вниз. Следом с грохотом посыпались дрова.

Орлуша испуганно вскочил и, увидев над собой Владика, долго стоял в растерянности. А потом, сплюнув сквозь зубы слюной-стрелой, выдавил:

— Кому, сука, скажешь... замочу... Понял!? — Глубоко затянулся дымом, выплюнул окурок, затер ногой и торопливо вышел из сарая, оставив открытой дверь.

Владик спустился с поленицы. Поднял книгу и остался стоять в бездействии. Он не мог двинуться, будто его врыли в землю.

С трудом поднимая ноги, сделал несколько шагов к колоде, на которой рубил дрова, встал на колени и закрыл глаза. Ему хотелось увидеть человека с печальным лицом, длинными волосами и строгим взглядом, которого он когда-то просил о помощи. Был уверен — этот человек скажет ему сейчас важные, спасительные слова, которые помогут вырвать из души Орлушу навсегда. Но сначала ничего кроме белого прыгающего пятна пред глазами не было. Потом и оно исчезло. А вместо человека с печальными глазами возник чернильный перстень, в синем квадрате которого вместо креста — хохочущее злое лицо Орлуши, выпячивающего золотую фикса.

«Я теперь всю жизнь буду носить его с собой, — в обреченном бессилии подумал Владик. И почувствовал, как из закрытых глаз стали пробиваться слезы. — Нет! Не хочу, как Орлуша!.. И его не хочу никогда...» — Он схватился за палец с наколкой и попробовал выдернуть

из руки. Палец даже больно хрустнул.

Его вдруг пронизала остро-болезненная мысль. Ком вырвался из горла. Стало легко дышать. Владик, не открывая глаз, поднял голову, точно искал в вышине бабушкину икону. Но человек с печальными глазами все равно не появился...

Открыл глаза, вытер кулаками слезы, резко поднялся, вышел во двор и нырнул в дверь Орушиного сарая. Ухватился двумя руками за топориче и выдернул стальное острие из полена. Встал на колени, положил на колоду мизинец с наколкой и занес над ним топор...

СЕЯТЕЛЬ

Отец встречал у вагона. Снял Ваню со ступенек, поставил рядом с собой. Потом подхватил большой, тяжелый чемодан и спросил:

— Как доехал, Иван Алексеич?

Мимо по соседней колее, громко гудя, пролетела зеленая дрезина.

— Плохо, — ответил мальчик, озираясь вокруг и прижимаясь к отцовским галифе.

— Почему? — Отец протянул руки, помогая маме спускаться на платформу.

— Долго, — нехотя ответил Ваня. — И все время стучит пол.

— Ну, еще немного... и ты дома. — И обращаясь к маме, добавил: — Все вовремя... Контейнер три дня назад пришел. Надоело спать на голом полу.

— Поедем назад? — спросил мальчик радостно.

— Только вперед, Иван Алексеич! — весело и бодро ответил отец, стараясь своей радостью заразить сына.

Солдат подхватил чемодан и понес.

Площадь перед большущим пятиугольным зданием вокзала захлебывалась шумом и воплями: звенели колючими голосами светло-коричневые сараи на колесах, от которых к проводам тянулись дуги-лопаты; бибикали «победы»-такси с черно-белыми квадратиками поперек дверей. И все это пронизывал резкий командирский свист милиционера, который вращался юлой на середине площади, размахивая черно-белым жезлом.

Подошли к «Студебеккеру». Солдат передал чемодан кому-то в кузов под тент, а сам уселся на место шофера. Отец усадил Ваню на сидение рядом с шофером, помог

маме взобраться в кабину.

— До вечера, — сказал он, передавая маме ключи. — Ребята знают дорогу. — И захлопнул дверь кабины.

«Студер» поехал по пустой улице, потом свернул на другую, где по обе стороны росли большие, толстые деревья с густыми кронами, а за ними прятались каменные дома в четыре, а кое-где и пять этажей.

— А полигон скоро? — шепотом спросил Ваня маму.

— Слава Богу, нет тут никакого полигона, Ванечка. Это нормальный город, где живут люди, как люди. Тут трамваи и троллейбусы ездят, а не тягачи...

— А откуда наш «студик» здесь? Его папа привез с собой?

— Господи! — воскликнула мама недовольно. — Да их за войну проклятые американцы нагнали на нашу голову немерено... Скоро десять лет, как победу объявили... Чего-нибудь человеческое придумали бы за столько времени. Холодильник какой. А то все «студики» да «катюши»... Этого добра сто лет некуда будет девать.

— В грузовик переписут, — засмеялся шофер.

— «Катюшу» в грузовик? — недоверчиво спросил Ваня. — А снаряды?

— Отвезут какому-нибудь новому корейцу, — со знанием дела ответил шофер. — А чтоб добро не пропадало, очередную войну придумают.

С мощеной улицы «Студебеккер» свернул в узкий переулок и, качаясь на колдобинах, покатил по черному шлаку мимо серых деревянных заборов, за которыми, подпирая небо, стеной возвышались густые зеленые заросли. Прополз метров сто. Забор справа вдруг закончился. Автомобиль остановился у одноэтажного кирпичного дома, который деревянным крыльцом выходил прямо на проезжую дорогу.

Мама выпрыгнула из кабины. Выскочил и шофер.

Оставшись один, Ваня с любопытством принялся разглядывать кусочек переулка, который виднелся сквозь ветровое стекло. Черный узкий ручей шлака плоским потоком вырывался из-под мотора автомобиля и метрах в тридцати, исчезал, точно нырял в глубокую пропасть. Должно, на дне пропасти жили люди, так как над урезом, куда падал шлак переулка, торчали желтые дымоходы над коричневатыми крышами. У среза по сторонам переулка стояли два толстенных дерева с широкими кронами и напоминали столбы, с которых специально сняли ворота, чтобы не мешали потоку.

Переулок был пуст. Из-под левого забора, из земли, неожиданно вынырнул небольшой рыжий песик с настороженно торчащими ушами.

«Собаки из земли... Наверное, здесь они вместо сусликов?» — подумал Ваня.

Подозрительно посмотрев на приземистую машину с тентом, собачонка стремительно помчалась к противоположному забору, поджав испуганно хвост, и исчезла под ним. И переулок точно осиротел.

И Ваню охватила неприязнь к переулку, серым деревянным заборами, непролазным зеленым кронами. Подкатили вдруг слезы, которые рождает несправедливая обида.

Вокруг машины разговаривали.

Кабина открылась. Крепкие руки шофера подхватили мальчика и поставили на высокое деревянное крыльцо с массивным железным навесом.

Солдаты с шумом и смехом выгружали из кузова «Студебеккера» вещи.

С высоты крыльца переулок показался мальчику узкой глубокой траншеей, над которой виднелась полоска голубого неба. Кроме веселой болтовни солдат и суетящейся мамы, все вокруг было полуживым, перегретым августовской жарой, сонным и равнодушным.

Ваня смотрел на незнакомый, непривычный пейзаж, а ему виделось, что он стоит на другом крыльце: маленьком у деревянного домика-барака, во все стороны от которого убегает серо-желтая степь и сливается у горизонта с таким же серым и бесконечным небом. А горизонт опоясывает высокая стена колючей проволоки на черных столбах, словно сдерживает степь от побега. Между деревянными домиками и колючей стеной ветер гоняет то вправо, то влево большущие шары-караганы. Иногда эти серо-черные кустики прибиваются к домам. И уткнувшись в синие крашенные стены, чахнут без ветра и без движения, как звери, посаженные в клетку без еды. Ваня поднимает их, и выносит в степь. Отпущенные на волю, подхваченные ветром, караганы несутся в степь, подпрыгивая на песчаных буграх, как скачущие сайгаки, и кажется, радостно благодарят мальчика, как спасителя и друга. А их бег сопровождается беспрерывными автоматными очередями и глухим эхом взрывов, что доносятся из-за

проводами, из-за горизонта. И караганы стараются быстрее и дальше откатиться от пугающего непрерывного гула военного полигона.

А здесь, в зеленом коридоре переулка, воздух пах не горячей степью, а чем-то влажным, пропитанным неизвестным сладковатым ароматом.

Солдаты-грузчики выставили на шпак обеденный стол. Вытащили и аккуратно прислонили к кирпичной стене дома высокое зеркало в черной резной раме. В него попали солнечные лучи и, отразившись, осветили ярким пятном серый деревянный забор на противоположной стороне переулка. И тесины засияли, заулыбались, словно были рады, что в дом приехали новые люди.

В комнате с пустыми стенами расстановкой мебели командовала мама. Между двух высоких окон повесили зеркало. К нему приставили тумбочку из фанеры, выкрашенную в голубой гарнизонный цвет. Широкую железную кровать поставили в угол слева от окна. Справа от второго окна мама велела приткнуть Ванин столик, рядом его диванчик.

У входной двери повесили бумажную радиотарелку. Солдат воткнул вилку в розетку. Комната вдруг наполнилась радостной музыкой — чей-то молодецки-бодрый голос в сопровождении трубы и барабана на непонятном языке пел веселую песню. Из всех слов Ване понравилось только слово «сольди».

— Ну, как пацан, нравится? — спросил солдат.

— Нет, — буркнул Ваня, чувствуя себя неуютно в незнакомой полупустой комнате.

— Молодой ишшо. Это самая песня у итальянцев. Зараз ее все поют.

Когда внесли стол и стулья, мама уселась и, отвалившись счастливо на спинку, со вздохом облегчения сказала:

— Наконец-то и мы, как люди... Как здесь хорошо...

— И спросила у Вани: — Тебе нравится, сына?

Мальчик завертел головой, стиснув губы, чтобы не заплакать.

— Ты ничего не понимаешь, дурыша! — улыбаясь, объяснила мать. — Ты погляди, сколько здесь зелени. Погляди... — она указала на окно. — За забором полный сад яблоч. Сорвал... и ешь. И не надо каждый день песок выметать из всех щелей.

— Здесь не стреляют. И вместо сусликов собаки.

— Господи! И слава Богу, что не стреляют.

— И никого нет... Я хочу обратно. Там Тамарка Кадырбай и Володяй...

— Нам только твоего Кадырбаева не хватало! — нервно сказала мама. — И про Володяя своего забудь... Хоть здесь избавились от этих басурман-мазуриков... — И с радостной уверенностью добавила: — Скоро в школу. Новых друзей найдешь. Иди на улицу...

Ваня вышел на крыльцо. «Студебеккер» давно уехал. Переулок пустовал.

Мальчик отыскал глазами дыру под тесовым забором. Ему хотелось, чтобы из нее выскочил рыжий пес с торчащими ушами, точно они договорились о встрече, как старинные приятели.

Неожиданно из-за забора вылетел черный мяч. Он стукнулся с шипением о шлак переулка и покатился к крыльцу, на котором стоял Ваня. Над забором выросла стриженная голова и крикнула:

— Эй, шпана! Поддай мяч!

Мальчик поднял мяч и бросил. Но тот не перелетел через деревянную изгородь, а ударился об нее.

— Ну, ты дохлятина! Даже мяч кинуть не можешь.

В заборе отворилась калитка, вышел парень в серой косоворотке и черных трусах. Он презрительно оглядел Ваню, поднял мяч и скрылся.

«У нас на полигоне лучше», — подумал Ваня и пошел в дом.

Мама разбирала чемоданы.

— А когда в школу? — спросил Ваня.

— Через две недели.

Но в школу Ваня пошел только через месяц. Перед первым сентября у него подскочила температура, распухло горло.

* * *

Мама с вечера выгладила пионерский галстук, пришила на куртку сына белый воротничок, проверила портфель и сказала, обращаясь к самой себе:

— Ведь надо же такому случиться... Две недели пропустить... Не нагоним...

Ваня проснулся рано. Но радио уже передавало утреннюю гимнастику. Лежал под одеялом, ожидая, когда мама пойдет на кухню умываться. Но поднялся

только отец. Долго умывался. Из кухни долетали голоса его и соседа. Они громко обсуждали что-то, смеясь. Отец вернулся в комнату с чайником, выпил наскоро чай. Надел вместо привычного кителя гимнастерку, засупонился в португепю и ушел.

«Почему мама не встает? — подумал Ваня и прислушался к комнатной тишине. Мама спала, тяжело дыша. — Две недели ничего не учил... Спросят про чего... а я не знаю. И будут смеяться... »

Он поднялся, сел на постели, и тихо позвал:

— Мама... в школу.

— Лежи. Нам во вторую смену. К часу дня.

«Какая глупая здесь школа... — раздосадованно подумал мальчик. — На полигоне было лучше.... Утром... и с обеда в степь...»

Огромный холл, по обе стороны которого располагались гардеробные вешалки, был темным и прохладным. Мама исчезла за какой-то дверью и вернулась в сопровождении высокого худого мужчины с седыми вьющимися волосами.

— Пойдемте, — сказал он, и быстро зашагал по коридору.

Поднялись на второй этаж. Седовласый дядя остановился у белой двери, приоткрыл ее и поманил кого-то. Вышла статная женщина в серой юбке и белой блузке, с копной черных волос, посаженных на затылок.

— Лидия Степановна, вот наш новый ученик, — сказал мужчина, глядя на Ваню с высоты своего роста. — Мы говорили... Он, к сожалению, болел две недели. Если захочет, пусть учит все предметы... А если нет... отпускаяте с украинского языка. Они из Казахстана.

— Нет, нет! — возразила мама. — Пусть вместе со всеми. Отец знает. С ним будет разговаривать.

— Тогда пусть со всеми, — согласился мужчина. — Это даже интересно... как быстро выучит? Вы только отметки пока не ставьте. А потом поглядим.

— Зовут тебя как? — спросила учительница.

— Иван Алексеич...

— Ваня! Ты что себе позволяешь? — Мама возмущенно дернула сына за плечо.

— Ты, брат, далеко пойдешь... — рассмеялась учительница.

— Это его отец с пеленок так называет, — объяснила мама, борясь с неловкостью. — Вот он и...

— Не беда, — перебила Лидия Степановна. Положила свою руку на голову мальчику и спросила: — Дорогу домой найдешь?

— Я за ним приду, — пообещала мама.

В классе три ряда парт. За каждой — две стриженные головы. Только за третьей в первом ряду и последней в среднем сидели ученики по одному.

— Щупак, — сказала Лидия Степановна и подвела Ваню к третьей парте. — Вот тебе сосед. — И обращаясь к Ване, добавила: — Доставай тетрадь. У нас сейчас арифметика.

Уселась за стол и долго, сосредоточенно изучала классный журнал и, казалось, не замечала тихую возню учеников.

С «камчатки» доносилось легкое шуршание.

Щупак, длиннолицый, с большими серыми глазами навывкате, повернул лицо к новому соседу и, косясь на учительницу с напряженной осторожностью, тихо спросил:

— Ты откуда?

— С Полигона, — ответил Ваня шепотом.

— Такого города не бывает, — уверенно процедил сосед, кривя тонкие длинные губы. — Чего там делают?

— Стреляют?

— Из чего? — Надменная уверенность вдруг сменилась заискивающим любопытством. Большие выпяченные глаза вспыхнули серым огнем и полезли на щеки, точно их кто-то выталкивал изнутри.

— Из пушек и автоматов, — прошептал Ваня, глядя на учительницу.

— А из пистолетов?

— Обязательно.

— И ты стрелял?

— Конечно... Папа специально возил на машине.

Учительница, не отрывая взгляд от журнала, громко сказала:

— Щупак! Опять не даешь никому учиться! Тебе, видно, очень хочется на третий год остаться в четвертом классе? А ну, шагай к доске!

— А чего сразу я?! — возмутился тихо Ванин сосед. И с плохо скрываемым ехидством добавил: — Вон, пускай, новый... Он точно ни черта не знает. Он к нам из какого-то полигона приехал... — Но поднялся и, пригибая костлявые плечи, подошел к доске.

— Слушаем внимательно... — попросила Лидия Степановна учеников. — Две трубы заполняют водой бассейн за один час... Все перевернули тетрадь... и посмотрели на задней обложке... что такое квадратные сантиметры... Размер каждой трубы — тридцать квадратных сантиметров. И эта же вода выливается из бассейна через третью трубу за полчаса. В задаче спрашивается: какого размера труба, из которой выливается вода из бассейна? Щупак, пиши... Две трубы по тридцать сантиметров...

Щупак писал и озирался на класс, ловя глазами помощь.

— Это было домашнее задание. Почему не сделал? — строго спросила учительница.

— Занятые мы были очень, — буркнул Щупак.

— Чем же вы, Тарас Щупак, были заняты?

— С бабушкой стояли в очереди за тюлькой ... А потом — за сахаром.

— Купили?

— Только тюльку.

— Садись на место... — уже с сочувствием сказала Лидия Степановна. Она заглянула в журнал и сказала: — Коляда, поднимись и скажи всем, как тебя зовут.

Ваня встал, подняв мешавшую крышку парты, и сказал:

— Меня зовут Иван.

— Иван-болван, — добавили с задних рядов.

Класс накрыла легкая волна смеха.

— Ваня... Коляда... Как бы ты решил эту задачу. Там, откуда ты приехал, учили арифметику?

— Учили, — ответил Ваня, и добавил: — Сто двадцать сантиметров.

— Правильно. Объясни, как ты считал?

— Из двух труб вода налилась за час. Вместе — две трубы по тридцать сантиметров... это шестьдесят. А чтобы вода вылилась за полчаса... надо трубу для выливания в два раза больше...

— Садись, Коляда... Кто не понял?

Класс молчал.

— Щупак, повтори, — потребовала учительница.

Щупак встал и тихо сказал:

— Сто двадцать сантиметров.

— А сто двадцать сантиметров... это что такое?

— Длина трубы... — после долгого молчания сказал Щупак.

Класс громко рассмеялся.

Щупак стал дергать недовольно ноздрями. С длинного лица исчезли губы, словно их проглотили. Он уткнулся взглядом в зеленую обложку неоткрытой тетради. А на него с портрета на обложке с укоризной смотрел Лев Толстой.

Лидия Степановна вышла из-за стола и, взяв мел, принялась объяснять у доски.

— Сегодня мы попробуем узнать, — начала она, — и понять, что такое целое и что такое часть целого... За два часа вода налилась в бассейн... Вот эту вода в бассейне будем считать целым числом. Почему вода — целое? Просто мы так решили. За целое можно принимать любой предмет, даже если он оторван или отломан от такого же предмета, только большего размера... или меньшего. Целое — это условно принятая нами величина. Оно принимается за условную единицу. Вода в бассейне... Окно в классе... хотя их в стене три.

Она рисовала и объясняла, а Щупак ерзал за партой, крутил головой, кому-то что-то объяснял, корча гримасы. А потом, прячась за спину впереди сидящего, тихо шепнул Ване:

— Ты вон тому в морду дашь? — Указал на парту у окна, где сидел большой пухлолицый паренек с зубами суслика, который во все глаза слушал учительницу.

Ваня с недоумением посмотрел на соседа и ответил:

— А зачем?

Щупак вздрогнул, словно его неожиданно испугали. На лице застыло неодолимое непонимание. Он уставился на тетрадь, которая лежала на парте перед ним, при этом нервно макая ручку в чернильницу. Перо скреблось о дно чернильницы.

От этого звука у Вани дергалось нутро.

Сосед же, пытаясь осознать и переварить Ванин ответ, сказал недоумевая:

— Ты чего — дурак? А хвастался, что с полигона, где стреляют.

— Сам ты дурак, — громко ответил Ваня.

— Щупак! — Учительница оторвалась от доски. — Слушай внимательно... Завтра тебя не спасут ни мука, ни даже самая длинная очередь за хлебом...

* * *

Прозвенел звонок. Весь класс выскочил в коридор.

Ваня вышел и встал у стенки. Мальчишки бегали, цепляясь друг за друга. Нарочито толкались. Шумели

громко. Этот шум был веселым и заразительным.

К нему подошел Щупак и с серьезным видом спросил:

— Из настоящего стрелял?

— Из чего настоящего? — переспросил Ваня, не понимая. Он думал о полигоне, о друзьях, оставшихся в городке — Кадырбае и Володые...

— Из настоящего пистолета?

— Еще бы.

— Самого-самого, какой в кино «Подвиг разведчика»?

— Конечно. На полигоне только настоящие и бывают.

— Бреешь! — авторитетно заявил Щупак.

— Сам — брехло! — ответил Ваня с возмущением.

Ему было обидно, что этот парнишка с хитровато-наглым лицом не верит ему. Он действительно стрелял из настоящего пистолета...

Перед самым отъездом из Полигона отец посадил Ваню в свой «Виллис» и повез в степь за колючую проволоку. У деревянных ворот солдаты отдавали честь папе и весело улыбались, подмигивая мальчику. Подъехали к деревянным сараям, из-за которых доносились непрерывные удары, точно огромное количество молотков забивали гвозди. Папа завел Ваню в сарай, поставил на табуретку, достал из кобуры черный пистолет. Передернул затвор и вынул обойму.

«Держи, Иван Алексеич, — сказал он. Вложил рукоятку в ладони сына. — Целься в мишень... Только один глаз закрой... для точности».

Ваня знал, что стреляют по мишеням, только никогда их не видел. Но догадался, что черный силуэт человека без рук вдали — та самая мишень. Вытянул перед собой пистолет, как делали все, кто воевал в кино, и, закрыв оба глаза, потянул за крючок...

Руки от резкого, громкого рывка подпрыгнули, и пистолет упал на пол. За спиной раздался громкий смех. И громче всех смеялся отец...

Ване захотелось заплакать от обиды, но он, стиснув зубы, сдерживал себя.

Подошел седоусый майор, отец Тamarки Кадырбая. Поднял пистолет, перезарядил и протянул мальчику.

«Ты не обращай внимания, Вань Полковникович. Они, сынок, в твои годы и такого не умели. Хочешь доброго чего — делай. И крепко все в руках держи. А они пуццай гигикают, как глупые девки...»

После второго выстрела пистолет остался в руках...

Щупак куда-то убежал и скоро вернулся. Он оперся плечом о стену и, тяжело дыша, спросил:

— Ты только раз стрелял, Пескосып?

— Нет... — неуверенно ответил Ваня. — С Тамаркой и Володям ходили в степь стрелять...

— С девкой стрелять? С Тамаркой?..

— Сам — девка! Тамерлан Кадырбаев... и Володяй Брандт. Друзья мои...

— Он — немец?

— Да.

— Ты с фрицем стрелять ходил? — с презрением спросил Щупак.

— Сам — фриц! — возмутился Ваня. — У нас на полигоне никаких фрицев нет.

— А у нас они Кабельный завод строят. Их каждый день утром приводят, а вечером уводят с охраной. У охранников автоматы... А пистоль вы где взяли?

— Под проволоку полигона лазили и нашли, — зачем-то соврал Ваня.

— А патроны?

— Их много валяется... Бери и стреляй.

— А где сейчас? — спросил Щупак.

— На полигоне они остались. У Володея батя...

— Твой пистоль?.. — перебил раздраженно Щупак. — У тебя?

Прозвенел звонок.

— Где твой? — не унимался сосед.

— Дома... — отрывисто ответил Ваня и пошел в класс.

Учительница, не садясь за стол, дождалась, когда все утихнут, и сказала:

— Шиманский, напомни нам, что мы должны были приготовить на сегодня по «родной речи»?

Поднялся толстяк с зубами суслика, которому Ваня должен был дать в морду.

— Стихотворение про осень, — осторожно ответил он.

— Начинай.

— «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало...»

Он произносил слова с ленивой медлительностью, словно выбирал нужные из огромной кучи лишних. Его остановила учительница. За ним декламировали другие. Кто-то запинаясь, путаясь в словах, и учительница поправляла. Кто-то выпаливал все подряд, надрывая голос.

Щупак вертелся за партой. И когда учительница ушла на середину класса, спросил у Вани:

— Ты привез пистоль с собой?

— Ну... привез! — ответил Ваня, стараясь избавиться от назойливости соседа. Придуманый пистолет его совершенно не занимал — думал только о том, чтобы его не заставили декламировать. Он не знал стихотворения. А Щупак своей вертлявостью мог привлечь внимание учительницы.

— Пошли на еврейское кладбище постреляем, — зашептал Тарас.

— Щупак! А ну начинай читать стихотворение! — возмущено потребовала учительница.

Сосед встал и недовольно начал:

— «Уж небо осенью дышало...» — Запнулся. Долго молчал.

— А дальше, — попросила Лидия Степановна.

— «И ядрам пролетать мешала...»

Класс залился громким смехом... Щупак, обиженный, уселся, плотно сжал губы.

— Что за смех!? — спросила учительница строго. И недовольно потребовала: — А ну-ка поднимите руку, кто знает, откуда стихи о ядрах?

Ваня оглянулся на класс. Рук поднятых не было. И он осторожно потянул свою.

— Говори, Коляда.

— «И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел», — прочитал он.

— Вот видите, ребята... Тарас Щупак и наш новый ученик Ваня знают стихотворение Лермонтова. Оно называется «Бородино». И мы его скоро выучим... Так выходит, что все вы смеялись над собой...

Всех спас звонок.

Мамы у школы не оказалось.

Ваня обрадовался. Забросил портфель за спину и побрел по улице. Его обогнала телега, запряженная гнедым битюгом с толстыми, волосатыми ногами, груженная черными мешками. От мешков шел ядовитый запах горелой резины.

— Ты где живешь? — услышал Ваня голос Щупака за спиной.

Обернулся и ответил:

— На Федоровке.

— За стеной Кабельного завода?

— Наверное... — не уверенно ответил Ваня.

— Покажешь?

— Пошли, — согласился он.

До Ваниного дома мальчишки шли молча. И только у крыльца Щупак предложил:

— Пойдем утром смотреть, как немцев пленных ведут.

— Давай! — радостно согласился Ваня. — А всем можно смотреть?

— ...а потом стрелять на еврейское кладбище?

Последние слова напугали Ваню. Он глянул в давящие глаза Щупака: они съедали его голодной жадностью.

«Не хочу с тобой, — подумал Ваня. — Где я тебе возьму пистолет?»

И после долгого молчания выдавил из себя:

— Стрелять не пойдем.

— Почему?

— Потому что патронов нет.

— Ну... — Щупак лихорадочно дергал глазами из стороны в сторону, словно искал помощи. — Ну... Просто поиграем в войну...

— Я не люблю играть в войну. — Поднялся по ступенькам и скрылся за дверью.

* * *

Отец вернулся домой почему-то очень рано: только-только зажгли уличные фонари. Мама сразу принялась накрывать на стол.

В дверь комнаты осторожно постучали.

Мама вопросительно посмотрела на отца и спросила:

— Это к тебе?

— Не знаю, — ответил отец. Он сидел без кителя, в белой рубашке, по верх которой, как постромки, чернели подтяжки. — Может сосед... Глянь, пожалуйста...

На пороге комнаты встал Щупак. Не глядя на Ванину маму и не замечая отца, он давящим взглядом ухватился за Ваню и с деловитой уверенностью сказал:

— Пескосып, выдь на двор... — И скрылся за дверью.

— Ванечка, а что это за Пескосып? — спросила мать.

Ваня пожал плечами.

— Узнаю настоящую школу, — весело сказал отец. — Сразу нашу фамилию раскусили... Меня в школе тоже дразнили. Только Песконосом.

— За что так? — спросила мать.

— Видать, мой пра-пра-родитель колядником при

власти состоял. Скользкие казенные дороги песком обсыпал...

Ваня последние слова отца уже слышал в коридоре.

Он вышел на крыльцо.

В белом свете уличного фонаря на противоположной стороне переулка у столба стояли Тарас и какой-то невысокий парень, в кепке и кургузом пиджаке.

Ваня подошел.

— Папашка твой кто? — спросил парень в кепке.

— Полковник, — ответил мальчик, не понимая, зачем его позвали.

— А он всегда приходит рано домой? — парень в кепке глянул сначала в лицо Щупаку, а затем на окна Ваниной комнаты.

— Всегда, — настороженно ответил Ваня.

— А мамашка где работает?

— Она не ходит на работу.

— Где твой пистолет? — строго спросил парень.

Ваня не ожидал такого вопроса.

«Опять пистолет... — недовольно подумал он. — Я просто так говорил про него... А Щупак — падла! Стрелять на кладбище звал...»

— Че молчишь?! — уже грубо спросил парень. — Есть у тебя пушка?! — И помолчав, добавил: — Дай мне!

Ваня уставился на выпученные глаза Щупаку, пытаясь спросить немым взглядом: зачем школьный приятель привел этого парня?

А у того на лице застыла умоляющая просьба согласиться.

И Ваня с ужасом осознал: завтра в классе этот пучеглазый всем расскажет, что новенький — болтун и враль. И это останется с ним на всю жизнь, прилипнет, как чернильное пятно к белой рубашке.

— Нет, — твердо ответил Ваня. — Не дам.

— Отдай, — нервно попросил Щупак. — Николе надо...

— Умолкни, Лупатый! — перебил его парень.

Хлопнула входная дверь в доме. На крыльцо вышел Ванин отец и громко спросил:

— Эй! Чего от парня нужно? А то я сейчас шею намылю...

Незнакомец в кепке торопливо пошел по переулку, не озираясь. Щупак побежал следом.

Ваня остался стоять, не зная, что ему делать.

— Иван Алексеич, чего застрял? — строго сказал отец.

— Шагай ужинать.

Когда мальчик уселся за стол, мама спросила, глядя в сосредоточенное лицо сына:

— Кто приходил? Чего успел натворить?

— Ничего, — осторожно ответил мальчик. — Это из класса... Мы с ним на одной парте сидим...

— Без году неделю в классе, а уже чего-то не поделил наш гвардеец с товарищем, — сказал отец, улыбаясь, пытаясь угадать причину неожиданного визита гостей. — Я правильно понимаю, Иван Алексеич? — Он проглотил несколько ложек супа: — Если чего... разбирайся всегда только сам. Никого не зови. И самое главное — не жди. — И с ухмылкой договорил: — Чтоб не так, как твой новый дружок... Привел за собой заступничка.

Лежа в постели, слушая, как тяжело дышит отец на кровати, Ваня укорял себя за то, что наврал о пистолете. За окном гулял ветер. Он заставлял шуметь деревья. И фонарь на столбе, смотревший прямо в окно, с укоризной качал светящейся головой, соглашаясь с Ваниными мыслями

На следующий день, на первом же уроке, улучив момент, когда учительница закопалась в журнале, Ваня спросил у Щупака:

— А кто это с тобой приходил?

— Никола, — горделиво прошептал Тарас. — Валерка Николаев.

— А он кто?

— Ты че, Пескосып, и правда дурной? Он у нас самый-самый. Месяц, как вышел.

— Откуда?

— Он срок тянул! — горделиво объяснил Тарас.

— Кого тянул?

— Срок. Сидел... Так ты отдашь ему пистоль?

— Зачем он ему?

— Ходить на дело, — с романтической загадочностью объяснил Щупак. — Так... отдашь?

— Нет, — твердо ответил Ваня.

— Ну и дурак ты, Пескосып... — с откровенным злорадством заявил Тарас.

— Я тебе не Пескосып! — недовольно сказал Ваня. — Еще раз скажешь...

— И че будет? — перебил сосед. — Я до тебя даже дотрагиваться не стану... Николе скажу... Сопатку сквасит... Красными сопяями умоешься...

— Щупак! — одернула учительница.

* * *

На первый урок второй смены приходили засветло. Но дневной свет исчезал быстро. Светлое пространство за школьными окнами съеживалось, кукожилось и, не имея сил удержаться у оконного стекла, трусливо исчезало. На его место накатывала неулыбчивая, хмурая темень.

В конце второго урока учительница включила в классе лампочки. И сказала:

— Я рассказывать больше не буду о Гражданской войне. Дома прочитаете в учебнике. Это задание... Староста? Что было заданно по истории?

— Первая Конная армия...

— Хорошо... Кто скажет — кто был командиром этой армии?

— Ворошилов... — ответили с задней парты.

— Коляда... Кто еще командовал Первой конной армией?

Ваня встал и сказал:

— Я не знаю... Не успел прочитать.

— Почему? В какой очереди ты стоял?

Ваня пожал плечами. Если бы учительница попросила, он бы рассказал, как вместо чтения учебника истории ходил в соседний яр смотреть птиц. И вспомнив, как оправдывался Щупак, ответил:

— За хлебом.

— Плохо, Коляда. — Глянула на класс с вопросом. — Поднимите руки, кот знает?... Кто такой Буденный...

Щупак выбросил руку первым.

— Говори, Тарас.

— Конь товарища Ворошилова! — уверенно выпалил Щупак.

В классе кто-то хихикнул.

Лицо Лидии Степановны побелело. Было видно, что она с большим трудом удерживает дрожь рук. Уселась за стол и принялась зачем-то рыться в классном журнале. И только после долгого молчания, через силу выдавила все еще дрожащим голосом:

— Первая Конная армия — символ победы в Гражданской войне... — В этот момент она немного походила на Суслика Шиманского — аккуратно выкладывала каждое слово. — Товарищ Ворошилов...

Вместе со звонком все забыли о Первой Конной и

Буденном. Принялись готовиться к немецкому языку.

Щупак, косясь на учителя немецкого, стал собираться домой загодя. Еще не прозвенел звонок, а он успел упрятать книги и тетради в тряпичную сумку. Как только ударил медный звон в коридоре, он вскочил с места и на ходу спросил у Вани:

— Домой идешь или в киношку?

— В какую киношку вечером? — с удивлением ответил Ваня.

— «Багдадский вор»! — крикнул Тарас и выбежал из класса.

— Он давно уже не идет, — сказал вдогон Ваня и пошел следом.

Темный двор шумел недолго. Ученики, оказавшись на улице, разбежались по сторонам.

Ваня брел по чуть освещенному кирпичному тротуару и думал о далеком и таком родном полигоне, который все не шел из его сознания.

«И школа рядом с домом... Наверное, Тамарка сейчас чинит сеть — в воскресенье пойдут с Володям ловить чижей... Принесут в класс. Эти желто-зеленики будут свистеть до весны... И училка немецкого будет на них ругаться, как и на тех, что выпустили весной... Как она смешно кричала на щеглов: «Ruhe halten!..» Зачем мама отпустила нашего снегиря пред отъездом? — с грустью подумал мальчик. — Может, и правильно... Здесь снегири не живут.. Если бы папа купил мне сеть, я бы наловил чижей... Их много в яру... И тоже принес бы в класс... Нет... Тут птиц не любят... И на окнах ничего не выращивают... Даже лук...»

— Эй, Христосев! — раздался чей-то голос сзади. — Поди сюда!

Ваня не сообразил, что это окликают его, и шел, продолжая думать о птицах, о Тамарке и Володье.

— Ты глухой, шпана! — Кто-то дернул его за правое плечо.

Перед Ваней стоял Никола. Он держал в зубах папиросу. Ее светлячок переползал из одного угла рта в другой и обратно.

— Ну, надумал? — спросил Никола, вырвав изо рта папиросу и сплюнув оторванным кусочком.

Ваня молчал, глядя на кривящиеся губы Николы.

— Ты не понял, сопля?! — нервно спросил парень. — Завтра шоб принес... а то урою, гниду!

— А я бате своему скажу про тебя, — ответил мальчик.

— Спужался я твоего батю, портяночник! Стукну участковому менту, шо у тебя пушка... И заметут твоего батю в тюрягу... И матю с ним гамузом! И — на этап!.. Понял?!. Завтра шоб принес!

Он снова вырвал изо рта папиросу, швырнул под ноги, и исчез.

Ваня поплелся по улице с чувством, словно его побили. В голове стучали колючие слова: «И батю и матю... в тюрягу!» И еще больше захотелось обратно на полигон.

Придя домой, Ваня с порога спросил у мамы:

— А другая школа здесь есть?

— Есть. Тебе зачем?

— В этой не интересно...

— Другая, сына, очень далеко,— ответила мама, выставляя на стол тарелку. — Винегрет будешь есть? Я сегодня положила много лука. Как ты любишь... И в другую школу надо на троллейбусе ехать. А билет — шестьдесят копеек... и назад. Школьники ездят, как и взрослые. И там нет немецкого языка. Только — английский.

— А я выучу английский...

— Не придумывай. Здесь нет такого немца, как твой Володька Брандт, чтоб с ним денно и ночью по-английски болтать... И где столько денег набрать на билеты? Я, вон, на Лукъяновский базар пешком хожу... — И, накладывая в тарелку винегрет, успокаивающе добавила: — Скоро привыкнешь. Мой руки...

«Завтра скажу Щупаку, что у меня нет никакого пистолета... — подумал Ваня, подбивая носик у умывальника. — А то за что маму в тюрягу?»

Но на следующий день, придя в класс, Ваня ни словом не обмолвился с Тарасом, что встречался с Николой.

И Щупак молчал. На переменах не подходил — делал вид, что занят своими делами. Только к концу четвертого урока, когда учитель немецкого языка писал на доске «перфекты», Щупак буркнул, чуть косясь на соседа:

— Ты лучше отдай. А то пачек навешает.

Выходя из ворот школы, Ваня стал нервничать. Встретаться с Николой ему не хотелось. Внимательно осмотрелся по сторонам. Можно было пойти домой кружным путем. Но это долго — лишний час...

«Никола все равно выследит... — зло ругал он себя. — И зачем я придумал этот пистолет?..»

И пошел привычной дорогой.

Улица сделала резкий поворот влево, пересекаясь с

другой, широкой и хорошо освещенной.

Из калитки двора углового дома вынырнул Никола. Кепка была натянута на глаза, а поднятый воротник коротенького пальто, застегнутого на нижнюю пуговицу, подпирал ее на затылке.

Увидев перед собой этого человека, Ваня, решил, что сейчас скажет, что у него нет никакого пистолета. Но эту мысль отодвинула другая:

«Еще семь лет учиться... И соседняя школа очень далеко... И мама не захочет переводить... За троллейбус платить целых шестьдесят копеек... и обратно...»

— Пойдем, покажешь, где пистолет, — сказал Никола и ухватил Ваню за ворот пальто.

— Не пойду! — огрызнулся мальчик и ударил парня портфелем по руке.

— Падла!? — взвился Никола. — Те че, жить надоело?! — Он наотмашь ударил Ваню кулаком в лицо. — Урою, гниду! Чтоб завтра принес! — Повернулся и пошел в сторону ларька, где под тусклой лампочкой с немощным светом толпился шумный народ, трясая пивными кружками и размахивая руками.

Ваня брел домой, вытирая кулаком кровь, которая тонкой струйкой стекала к губам.

«Чего скажу маме?» — спрашивал он себя. И ответа не находил. Остановился в тридцати метрах от дома, в тени забора Кабельного завода, надеясь, что объяснение, почему у него разбито лицо, придет само.

Видел, как мама выходила несколько раз на крыльцо, торопливо сбегала на шлак и всматривалась в темноту переулка — понимал, что она ждет его. Но идти домой не решался.

«Чего говорить? — спрашивал он себя: — А про пистолет я все равно не скажу...»

За спиной зашуршал шлак под чьими-то ногами.

— Ты чего тут, Иван Алексеич? — раздался голос отца. — У-у-у! Бывает... Ну, пойдем.

Он подтолкнул легонько сына в спину большой ладонью и весело сказал:

— Не переживай. Тебя проверяют.

— Про чего? — спросил Ваня, шмыгая носом.

Отец долго молчал. А когда ступили на крыльцо, объяснил:

— Проверяют... Вшивый ты или нет?

— Почему я вшивый? Мама вчера мыла меня.

— Это так говорится... Я про другую вшивость...

Проверяют — пойдешь жаловаться учительнице... Или позовешь меня, чтобы заступился...

Увидев разбитое лицо сына, мама со страхом воскликнула:

— Алексей! Что творится здесь!? Иди в школу! Прикажи!.. Что они себе позволяют? — Она намочила полотенце и, присев, принялась обмывать лицо сыну. — Это кто, Ванечка?

— Так новеньких всегда встречают, — сказал отец, снимая китель. — Нос у тебя целый, гвардеец?

— Целый, — ответил мальчик. Он готов был уже соврать что-нибудь маме. И подумал с благодарностью: «Папа все знает... Хорошо мешает говорить».

— Надо что-то делать, Алеша?! — взволнованно сказала мама.

— Ничего делать не надо, — твердо ответил отец. — Без этого мужиком не станешь.

— Давай переведем мальчика в другую школу!

— Лучше поедем на полигон, — сказал Ваня.

— Ты чего поумней придумай! — недовольно воскликнула мать. — Что там хорошего!?

— На полигоне, действительно, было лучше, — сказал отец серьезно. — Понятней...

— Здесь плохо... — подхватил мальчик интонацию отца. — И уборная тут тоже на дворе... А там никаких заборов нет и все вокруг видно... И Володяй Брандт с Тamarкой... И сетки у меня нет... А там была!

— Вас забыли спросить, где нам жить! — сказала мать, обидевшись на мужа и сына. — Садитесь есть! Все остыло!..

* * *

На следующий день мать провожала Ваню до школы. Они шли по улице, и он плелся за спиной мамы, старался отстать. Чувствовал себя обиженным и униженным. Ему казалось, что на него сейчас смотрят шесть с лишним десятков глаз его одноклассников. И все смеются.

Прошли мимо пивного ларька. У окошка никого не было. Только безногий толстый инвалид в серой шляпе и зеленом солдатском ватнике, привязанный к доске с подшиппниками, сидел под пустой полочкой, и ждал прохожего, кто бы помог купить кружку пива.

Когда подошли к школе, Ваня быстро шмыгнул в открытую калитку и скрылся за высокой входной дверью.

После уроков Суслик Шиманский предложил, обнажив свои бобровые зубы

— Пойдем домой через пути для дрезины?

Ваня согласился.

Они выскочили на улицу.

Ваня натолкнулся на маму. Она ждала его у выхода со школьного двора.

Шиманский, увидев женщину, рядом с товарищем, осекся и побрел по улице, втянув голову в плечи.

— Это ты с ним дерешься! — спросила мать, пытаясь взять у сына портфель.

— Нет, — недовольно ответил Ваня и не отдал портфель.

Они шли по чуть освещенной улице. Мама спрашивала о чем-то. Ваня отвечал «да-нет» и с волнением глядел по сторонам. Ему вдруг захотелось, чтобы сейчас появился Никола.

«Лучше бы он мне морду набил... — думал он, — чем идти под надзором...»

Ваня увидел Щупака. Он с незнакомым пареньком обогнал их по параллельному тротуару. До уха долетели громкие призывные слова Тараса:

— Там еще никого нету! И будем первыми!..

«Хорошо, что отметки не спрашивает... — подумал Ваня. — Надоело все время пятерки для мамы получать... Лупатому все равно, какие отметки... — И с завистью посмотрел вслед уходящим парням. — Побежали кино смотреть в Клуб Трамвайщиков... А мы домой...»

Мама целую неделю встречала Ваню у школы.

А в понедельник он проснулся специально со звуками гимна и, дождавшись момента, когда отец вышел в кухню умываться, выскочил за ним следом.

— Папа, прикажи маме, — попросил Ваня, — чтоб не стерегла меня после школы.

У отца во рту застряла зубная щетка и из круглой коробочки, которую он держал в другой руке, посыпался на пол зубной порошок.

В кухню вошла мать...

Ваня вернулся в комнату, прыгнул в еще теплую постель, укрылся одеялом с головой, оставив дырочку, чтобы слышать разговор родителей. Но из-за плотно прикрытой двери долетали только гудящие звуки родительских голосов.

Отец пил чай за столом молча, поглядывая на маму...

Улучив момент, когда она вышла в кухню, он сказал:

— Иван Алексеич!.. Не хочешь, чтоб приходили за тобой — бей и не жди... Если заслужил — получи за дело и не жалуйся... А домой с соплями не приходи. Утирайся где хочешь... Понял, что я сказал?

Ваня дернул головой, соглашаясь. Одеяло вздрогнуло, подтверждая согласие.

* * *

На последнем уроке был немецкий язык. Но вдруг в класс вошла Лидия Степановна с пачкой тетрадей в руке.

— Немецкого не будет, — сказала она.

— Ура! — выкрикнул Щупак. Его поддержали несколько голосов.

— Сейчас... контрольная по арифметике. Староста, раздай тетради... Для сидящих слева — задача про трубы и бассейн с водой. Для тех, кто справа — про поезда из Москвы и Ленинграда через Бологое...

Она быстро написала условия на доске. Сама уселась за стол и окунулась в какую-то книгу.

Щупак долго смотрел на доску, почесывая себя по худым щекам. Потом, боязливо косясь на учительницу, буркнул:

— Вот зараза!.. — И прошипел в ухо Ване: — Ты знаешь, как решать?

— Знаю, — тихо ответил тот.

— А мою?

— И твою.

— Напиши, — жалостливо попросил Тарас.

Ваня перевернул тетрадь соседа и на последней странице написал решение в пять вопросов. И отдал.

Щупак, непрерывно заглядывая на задний двор тетради, переписал все на вторую страницу, и отнес учительнице.

Лидия Степановна с удивлением посмотрела на него, глянула в тетрадь и сказала:

— Хорошо... Можешь идти домой.

Тарас вырвал из-под парты сумку с книгами и выскочил в коридор.

Ваня написал решение про поезда в семь вопросов. Отложил тетрадь в сторону и принялся собирать портфель.

— Коляда, — спросила учительница, — ты решил?

Ваня кивнул, соглашаясь.

— Неси. — Учительница глянула на решение задачи и

шепнула: — Сговорились... в кино?

— Нет.

— Ладно... Беги... — Она улыбнулась понимающе.

На улице мелкий дождь. Казалось, вода висит в воздухе и не хочет падать. На деревьях намокшие листья в огнях фонарей горят зеленой летней яркостью.

По брусчатке вели колонну военнопленных с Кабельного завода. Они брели в молчаливых черно-серых шеренгах, опустив уныло головы, переставляя с шипением ноги, не размахивая руками, обливаемые дожем. Лица их почти съедала темнота. Вид у пленных был смиренно-обреченный. Начало колонны исчезло в дальнем конце улицы, а шеренги все шли. Охранники плелись по тротуарам. Автоматы висели за спиной. Они курили, не обращая внимание на охраняемых.

Ваня стоял у мощеного бордюра и с любопытством и напряженной боязнью разглядывал бредущих. И не мог сдвинуться с места. Он слышал о пленных, но то, что увидел, родило в нем щемящую жалость, точно это он сам шел среди них... Вдруг в ближней шеренге пленный, изогнув спину, закашлялся, приложив обе ладони ко рту. Потом сделал шаг в сторону тротуара и выплюнул черный большой сгусток на брусчатку.

Ваня почему-то вспомнил, как болел, когда жил на полигоне — у него опухло горло, кашель раздирал нутро, было трудно глотать. И мама поила облепиховым чаем...

Сейчас ему захотелось подбежать к пленному, который кашлял и пообещать, что завтра принесет ему облепиховый чай...

— А ну, шнеля у строй! — с громкой ленивостью сказал часовой, обминая Ваню.

«Я бы принес чай...— подумал мальчик. — Так тут и облепиха не растет...— И вдруг ощутил себя таким же, забытым, неустроенным, как эти пленные. И обида за эту неустроенность наворачнула слезы. — Зачем я съел свой завтрак?.. — укорил он себя...— Я бы отдал сейчас...»

И только когда мимо прошел часовой с красным горящим фонарем в руках, Ваня словно проснулся. Побрел домой.

Никола появился вдруг. Он встал посреди тротуара.

— Ну, шо, сучонок, принес? — На нем было длинное черное пальто с поднятым воротником, белый шелковый шарф и большая белая кепка. — Покажешь, где пушку заныкал?

Ваня понял, что Никола снова станет его бить. Но это не испугало. И возможная боль ушла, словно ее никогда и не было. Смотрел в лицо Николы и хотел заехать кулаком этому толстомордому в его совиной глаз. Но не мог. Чувствовал правоту Николы.

«Он же не знает, что я вру», — оправдал Николу Ваня.

И ожидая удара кулака, показалось, что он идет в колонне обиженных и униженных пленных, которые не могут постоять за себя, а Никола — часовой.

И сейчас Ваня ненавидел себя...

— Инвалидом сделаю! — крикнул Никола. — На подшипниках мамашка возить станет! Под ларьком пиво всю жизнь будешь клянчить, сучонок! Где пушка!?

Ваня молчал.

— Ты шо глухой, падла!? — Кулак ударил Ваню в зубы. Мальчик отшатнулся, но устоял на ногах.

— Последний раз предупреждаю! Шоб завтра принес!

Ваня брел, тяжело переставляя ноги, и глотал слезы. Они были не солеными, а какими-то приторно сладковатыми. Остановился под фонарем, провел тыльной стороной ладони по губам. На руке остался густой кровавой след. Но все внимание мальчика занимала не вздувшаяся губа, которая болела и кровоточила. Он думал, что нужно придумать в свое оправдание, чтобы мама не пошла в школу.

«Пойдет жаловаться... и защищать, — соображал он, — а меня засмеют...»

На углу переулка с крыши дома тонкой струйкой стекала вода. Ваня, не бросая портфель, принялся умывать лицо. И чтобы кровь не стекала на подбородок, закусил верхнюю губу. Во рту сразу стало тепло и сладко.

Еще издали он увидел слабый зеленый свет настольной лампы в окнах их комнаты.

«Мама что-то читает, — подумал Ваня, — или штопает?»

Приложил палец к разбитой губе — на нем оказалась кровь. Он решил дождаться, когда рана на губе затянется, и только потом идти в дом. Встал в тень куста сирени, который нависал над забором против их окон. С листьев за шею падали маленькие холодные капли. Они лениво скользили под рубашку и там исчезали, оставляя вместо себя неприятный холод...

Входная дверь вдруг отворилась. На крыльцо вышла мама. На ней было длинное пальто и маленькая шляпка. В руках — короткий отцовский плащ. Она быстро

засеменила по переулку и утонула в вечерней дождевой мрякости. Следом умолк и шорох шлага под ногами.

«Пошла встречать папу, — уверенно решил Ваня. — Потому и свет оставила... Я сейчас лягу спать... Скажу, что заболел...»

Нащупал в кармане ключ от двери. Отпер замок и вошел в кухню. В темноте наткнулся на пустое ведро. Оно с грохотом упало. Вошел в комнату и остановился в растерянности.

За его письменным столом сидел отец и читал газету.

— Ты маму встретил?.. Или вы вдвоем? — спросил отец, чуть повернув голову в сторону сына.

— Нет, — буркнул Ваня.

— Где это вы разминулись?.. Промок? — Обернулся. И улыбка вдруг исчезла с его лица. — Господи! Ты глянь на себя... Чего опять не поделили?

Ваня молчал, виновато уткнулся глазами в пол.

— Смотри на меня! — приказал отец. — Не можешь дать сдачи?

Мальчик провел пальцем под носом, и тихо процедил с сожалением:

— Я, кажется, драться не умею.

— Ты же дрался с Володькой Брандтом, — сказал отец.

— Это не считается. Он мой друг...

— А сейчас с кем?

Ваня снова потупил взгляд.

— Не нравится мне все это, Иван Алексеевич, — сказал отец серьезно.

Отложил газету. Опустил брови на глаза, отчего лицо его сделалось недобрим. Поманил сына к себе пальцем и, наклонившись к уху, прошептал:

— Не умеешь кулаком... бей словом. Это страшнее... И быстро умываться. Вся рожа грязная... А для мамы что-то нужно придумать... Начинай мыть посуду... Не любишь... но придется... Разлей что-нибудь на пол. А я скажу — мы плохо наколядовали... Ты поскользнулся и разбил губу...

— Так нет грязной посуды... — Ваня знал, что мама никогда не оставляет после еды невымытую посуду.

— Сейчас сделаем. — Отец встал, достал из буфета две тарелки и две вилки. — Измажем... Дурное дело не хитрое... Только не проси ужинать... А то сами себя выдадим... Стыда не оберемся.

— А на войне... — спросил Ваня осторожно, — ты тоже воевал... словом?

— На войне воюют всем, что попадет под руку. — И после долгой паузы отец добавил, точно размышляя над чем-то или вспоминал. — И словом крепким тоже... Оно иногда, Иван Алексеич, посильней пули будет... За иное слово можно и пулю схлопотать... В спину.

* * *

В одну из последних октябрьских ночей натянуло мороз. К утру все деревья стояли до бесстыдства голые, а у их ног и вокруг толстой зеленой периной лежала листва.

Отец разбудил Ваню и, заставив накинуть одеяло, вывел на крыльцо.

— Гляди, какая красота, сына! — восторженно сказал он.

— Это тебе не нашу пыль с песком на полигоне глотать...

— На полигоне все равно лучше, — ответил Ваня, продолжая спать. — Если бы туда столько деревьев привезти... Еще лучше было бы.

— Вырастешь — вези.

— Долго, — ответил Ваня. И побежал досыпать.

Когда он шел в школу, опавшую листву уже сметали с тротуаров к тесинам заборов. Она огромными кучами лежала, словно мусор.

«И правду говорил папа, — подумал мальчик. — Утром было красиво и лучше...»

У пивного ларька на перекрестке главных улиц никого не было. И в маленьком сквере за ларьком пустовали скамейки.

Ваня миновал ларек и пошел вдоль длинного забора.

Никола вырос как из-под земли. В коричневом коротком пальто и большой белой фуражке. На шее висел белый кашемировый шарф.

— Надумал? — с подозрительным спокойствием спросил он, дергая плечами. На лице замерла злая ухмылка. Вынул из кармана пачку «Казбека», вставил лениво в рот папиросу и, чиркнув спичкой по коробку, долго прикуривал, явно ожидая ответа. — Не слышу, пугало огородное! — Струя дыма потянулась к небу.

Откуда не возьмись, рядом возник Шупак. Прилип к левой руке Николы. И складывалось впечатление, что он поддерживает ее, чтобы та не упала.

— Отдай, Песок, — сказал требовательно Тарас.

Ваня оглянулся по сторонам. По противоположному тротуару шли гурьбой пятеро его одноклассников. И ощутил, что это Щупак специально уговорил ребят прийти и посмотреть, как его будут бить.

— Пойдем, — уверенно согласился Ваня и поманил Николу к забору.

Остановился возле большой зеленой кучи. Когда Никола подошел, мальчик положил к ногам портфель, взялся руками за белый шарф, как за вожжи, и потянул к себе. Никола не сопротивлялся. Наклонился. Его ухо оказалось рядом с Ваниными губами, — табачное гнилое дыхание неприятно ударило в нос.

— Еще раз... — сказал Ваня, с большим трудом сдерживая волнение и стараясь выбирать нужные слова, как делал Шиманский, — подойдешь... Застрелю...

Никола дернул головой, как испуганная лошадь. Но белый шарф, схваченный Ваниными руками, не позволял двинуться.

И вспомнив слова отца, Ваня добавил:

— И пулю получишь... в спину... как пады на войне...

Никола вырвал шарф из рук, и пошел торопливо по тротуару в сторону пивной. Щупак бежал рядом. Они исчезли в сквере за пивным ларьком

* * *

Щупак в классе не появился.

Ваня нервничал на уроках. Мямлил стихотворение на «родной речи», путаясь в словах и рифмах. Неожиданно получил двойку по немецкому. Страх, что Никола подкараулит его и изобьет, не отпускал. Бежал домой, сторонясь шорохов улицы. Не спал всю ночь — ворочался с боку на бок, и лихорадочно решал: какой дорогой идти в школу.

«Попросить папу — пусть проводит? — соображал он. — Оденет ордена... Один день он проводит... А потом? И ему надо будет рассказать все... И на шинель ордена он никогда не надевал... Попрошу маму, пусть проводит... Нет!.. Она будет каждый день туда-сюда ходить. Засмеют... Пойду по железнодорожной ветке... Никола там не ходит... Лучше — через больницу... А оттуда — на Еврейское кладбище... и в школу... А Шпак все равно Николе скажет, что я в школе... И где взять этот проклятый пистолет?..»

Утром Ваня долго ковырял вилкой вареную картошку,

перемешанную с жареным яйцом. Но еда выпадала изо рта. Несколько раз пытался проглотить несколько кусочков...

— Что ты ковыряешься? — спросила мать. — Ешь нормально.

И вдруг Ваню осенило:

— Нас учительница ведет в музей.

— Какой? — спросила мама. — Идешь в музей... и голодный. Сначала поешь... И уроки не сделал...

— Нам ничего не задали, — уверенно объяснил он.

Быстро проглотил еду. Свалил книжки в портфель, накинул пальто, выбежал на улицу.

Добежал до угла переулка. Остановился. Огляделся. И только тут он понял, что очень боится встречаться с Николой. Боится не побоев, а что все равно придется признаться, что соврал.

«Никола так просто не отстанет... — Принялся высматривать улицу в обе стороны. — Сам не придет... а с кем-то... А я один... Вот если бы сейчас Тамарка и Володяй были со мной... Мы бы в одном классе учились и ходили вместе...»

Ваня прошел по железнодорожной ветке до больницы. Через ее парк вышел к Еврейскому кладбищу и долго петлял между разрушенными могильными памятниками, рассматривая надгробные надписи на неизвестном языке, понимая только цифры дат. Выбрал широкую мраморную плиту и уселся на нее. Среди редких голых веток кустарника сновали синицы. Прилетела пара чижей... Наблюдая за птицами он забыл про Николу. Все его мысли были далеко в степи, рядом с Тамерланом и Володям...

Заводской гудок вернул его на кладбище.

«Теперь опоздаю! — выругал он себя. — Лидка все уроки будет про это бубнить».

Хотел бежать в школу. Но какая-то внутренняя сила, родившаяся в нем вдруг, выгнала из души мысль о пистолете, а вместе с ним пропала боязнь Николы, Щупака и Лидии Степановны. Весь он переполнился удивительным ощущением, что шагнул в совсем иную, новую жизнь. Было ощущение, будто он не идет по дороге, а летит над землей. И это новое чувство, наполнившее душу, не позволяло бежать, а заставляло идти твердым неспешным шагом счастливого человека, уверенного в своей силе.

«Как на войне...» — с улыбкой подумал Ваня.

Класс встретил Коляду легким сдержанно-радостным вздохом.

Весь урок Ваня сидел один.

А перед вторым уроком к Коляде подсел Шиманский и, глядя своими смешными зубами Ване в глаза, сказал с серьезной озабоченностью:

— Ты можешь пристрелить Гаптысю?.. Чуть-чуть... Как Николу...

— А ты откуда знаешь про Николу?

— И про пистолет... Так... пристрелишь Гаптысю?

— Это кто? — спросил Ваня, с чувством человека, от которого многое завист.

— Толька Калиновский... из седьмого бэ.

— Ты sdурел, Венька? — ответил Ваня. — Кто разрешит?.. И стрелять за что?

— Он у меня завтраки забирает, — с обидой пожаловался Шиманский, — когда иду в школу... — И с надеждой попросил: — Может... перед школой зайдешь за мной? Вместе пойдем... Гаптысю пугнем твоим пистолетиком...

— А ты где живешь?

— На Татарке.

— А это далеко?

— На горе за Кмитовым Яром.

* * *

Щупак в школу не пришел. Он появился третьего дня, и с классного порога отправился на «камчатку».

Ваня просидел за партой один целую неделю. Поначалу одиночество тяготило его. Но он заметил, что одноклассники стали смотреть на него с мягкой завистью.

На одной из перемен дрались двое. Они сцепились по-детски: мутузили друг друга, почему-то весело смеясь. Потом один вырвался и побежал по коридору. Пробегая мимо Вани, он с громкой веселостью вдруг крикнул:

— Здорово, Христосев! — И помчался вниз по лестнице.

За ним гнался другой. Он слегка пнул Ваню кулаком в плечо и крикнул, как кричат друг другу хорошие приятели, которые давно не виделись:

— Привет, Сеятель!

В понедельник к Коляде за парту подсел Шиманский

и, оглянувшись на «камчатку», тихо сказал:

— Я пересяду вместо Лупатого?

И не ожидая Ваниного согласия, побежал к своей парте, выдернул из ящика портфель, и вернулся.

— А ты знаешь?.. — Суслик плюхнулся на место Щупака. Запихнул в нишу портфель и, держась за него, боялся, что заставят вытащить, и прогонят, строгим голосом, задыхаясь, поведал: — Новое кинушко в Клубе Трамвайщиков... «Герои Шипки». Сначала «Индийская гробница» ... А потом...

— А мама говорила, что в «Коммунаре» идет «Возраст любви»... Хвалила папе.

— Кому сдалась какая-то любовь? — сказал Шиманский. — Давай сразу на «Героев Шипки». Оно завтра первый день идет...

— Билетов нету, наверное, давно, — сказал Ваня.

Шиманский приложил свои всевидящие зубы к уху соседа и зашептал:

— Я же говорю... Там на первом сеансе «Индийская гробница»... Мы посмотрим «Гробницу», а перед концом залезем на сцену... За репродукторы... Я так все кинушки посмотрел первым...

— А если не успеем? — усомнился Ваня. — Свет зажгут... Я конца «Гробницы» не видал... У нас на полигоне... когда показывали, дизель сломался.

— Да я эту «Гробницу» уже десять раз смотрел... А когда пустят «Шипку» — вылезем... Первый сеанс в девять...

— А сидеть где? — осторожно спросил Ваня.

— В проходе... Там широкие ступеньки... Я всегда на них сижу... — И с радостной надеждой в голосе спросил: — Пойдешь?

— Пойдем! — с успокоенной уверенностью ответил Коляда.

ПОЕЗІЇ МОЛОДИХ АВТОРІВ*

АНАСТАСІЯ ПЕРЕВОЗНИК

* * *

Тільки й просиш у Бога – подай, не карай і помилуй.
Тільки й світла, що з неба, де котиться сонце снопом.
Де й взялася в мені неосяжна невидима сила,
Щоб іти уперед, повз мільйони тяжких перепон.

І повітря легке. І дорога – рівненька і чиста.
Пам'ятаю усе, та мені вже ніщо не болить.
Тільки й щастя у світі – вдягти світанкове намисто,
Тільки й радості – вітер під спину тримає коли.

* * *

Яблуні зацвітуть. Яблуні зацвітуть.
Білою піною вкриють сплячі сади і душі.
Крики пташині тануть високо, на льоту.
Серце моє провина, важча за камінь, душить.

Яблуні зацвітуть сповіддю білих снів.
Все пробачає світ – тільки умій просити.
Ніби на землю травня знову спустився сніг,
Душі, як сорочки випрані, пестить вітер.

* * *

Ті, хто можуть співати, – тричі благословенні!
Тільки б голос не втратити, тільки б слова не згубить...
Перебори гітарні, як кров по тонесеньких венах,
Потекли за світанок шукати свободи собі

І лунати під небом, за пальці тримаючи вечір,
Розривати кільце, щоб вдихнути святої весни...
Ті, хто можуть співати, – славу на їхні плечі!
Я не можу, я хрипну. Але я пишу їм пісні.

* У добірку увійшли вірші молодих авторів, представлених літературною студією Віктора Бойко.

* * *

Ти тепер визираєш з-за кожної рими й рядочка.
Я закохана, бачиш? Такий-от весняний сюрприз.
Ти колись будеш мій, відчуваю це, знаю це точно.
На заваді не стануть нам сотні загрозливих криз.

І немає дощу, і не сумно. Я навіть щаслива.
Лиш для мене тепер промінь сонця, веселка, трава.
Ти вже маєш мене у собі, десь під ребрами, зліва.
Я закохана, бачиш? Тому я ще й досі жива.

* * *

Ще й зоря не зійшла, ну а я вже сідаю вечерять.
Так, як завжди, у пекло я лізу попереду всіх.
А пісні, щоб співати їх, з ранку товчуться у черзі
І вишуковують у хуртовині чийсь голоси.
І знадвору – морозно. А серце нагріте родинним,
Тільки дому властивим, таким берегинним теплом.
А у пахощах страв мені маряться різані дині,
Ніби серпень настав, і дощами з небес загуло.
Попри лютий мороз у гарячі свята загорнуся,
І полину в думках до червневих ожинних стежин....

Моя давня-прадавня, немов споконвічна, бабусю,
Як на мене споглянеш, молитви слова прокажи.

* * *

Зіграй мені на скрипці, бо болить.
Сучасних нас до чорта. Вічних – мало.
Ті, що були собою, – відпливли.
А ті, що мали силу, – не zostались.

Зіграй мені. Про світло і про світ,
Про квітку-юність і про сиві скроні.
Планетам не зійти з своїх орбіт
Й не обірвати лінію долоні.

Сучасних безліч. Справжнього – катма.
Та ті, хто знають правду, зможуть жити.
Зіграй мені, щоб шлях моїх оман
Розвіявся від доторку, від вітру.

* * *

Я – майже комп'ютер. Я кинула їсти і спати.
Лиш очі заплющую, маряться в сірій пільмі
Кохання мого сніжно-білі малі голуб'ята,
Туркочуть вони і стенають тонкими крильми.

Я кинула спати.
Я скоро й писати покину.
Боюся паперу, бо лізе душа на папір.
Лише голуб'ятам відома чарівна країна,
Де море і чайки, де спокій, де радість і мир.

Прошу, заберіть мене, лагідні, десь із собою,
Ходитиму берегом там я у світлій надії...
Та біла пташина хитає лише головою:
Нам шкода, але – голуби не літають у вирій.

ОЛЬГА ТИХОНОВА

* * *

Путь увенчан тревожной дымкой.
Ходят по полю конокрады.
Месяц зябко стучит копытцем.
Стынет смех по ночным колодцам.
Той воды не отведай, путник!
Та вода, как печаль, отравна.
Там на дне умерла русалка
вдалеке от родных чертогов
и не стала морскою пеной...
Мой буланый устал с дороги.
Но в лесу у костров цыгане
оловянные плавают кольца.
У меня же клинок священный,
на груди – серебряный сокол.
Чует месяц свою погибель –
ходят по небу конокрады.

* * *

Снег на волосы, снег на пальцы...
Белым пламенем вьётся вьюга.
Мы скитальцы с тобой, скитальцы...
От порога дорога к Югу.
Пахнет ночь горьковатой хвоей.
И клинок отдыхает в ножнах.
Но тревожной и тёмной хворью
нас с тобой, как коней, стреножат.

* * *

И мне почудилась в окне
больная веточка сирени.
А в тёмных снах моих на дне
варила в чане я коренья.

И кожа матовая рук
во мрак сочилась светом тёплым...
И кто-то тёмный по двору
слонялся и дышал на стекла.

* * *

Где липами пропахла темнота,
где домик твой чащобой отгорожен,
Ты плачешь о несорванных цветах
и ходишь по нехоженным дорожкам.
А на Земле как будто ни души,
но каждый вздох – гармонии и рифмы.
И ты растёшь.

И вырастешь большим.
И будет шерсть колючей на загривке.

* * *

А хочешь, я придумаю весну:
хлестну дождями, растревожу громом...
И грянет мир – мучительно огромный.
А я рассвет в лицо тебе плесну.

И пригоршнями небо зачерпну,
и вдруг поймаю старую ворону.
Я, как она, – и рук твоих не трону,
но голос мой разрежет тишину.

Твоей печали детская гуашь...
Ворона нам расскажет про дороги,
ведущие на светлый Авалон.

Иди домой, колени йодом смажь,
и снятся пусть тебе единороги.
И вспыхнут одуванчики светло.

* * *

Фальшью, фальшью, фальшью, фальшью
не загнать тоску в берлогу.
Выше, горче, чище, дальше –
за любовь мою налоги.

Не заплатишь – не получишь
расстоянья-расставанья.
Лучше, лучше, лучше, лучше!
Слёзы в спальне, слёзы в ванной.

Нервы, нервы, нервы, нервы.
Пульс к губам горячим ритмом.
Если хочешь, буду первой
в темноте твоей звериной.

Мёрзну, мёрзну, мёрзну, мёрзну!
Ты простишь – и мы простимся.
Знаешь, где не гаснут звёзды?
В ледяной ночи над Стиксом.

* * *

Я раздобуду карандаш
и нарисую снег и вечер.
Ты мной давно уже замечен,
и эта правда – как вода.

Но день расплавлен, как янтарь,
и чёрных глаз пугает бездна.
А быть весёлой – бесполезно,
как в дождь – из дома, без зонта.

* * *

Всё будет, как хочешь.
Всё будет, как скажешь.
И падают строчки
рисунком на скальном.

Ты многое знаешь
и малого просишь.
А утром – окна лишь
озябшая просишь.

Я тоже устала.
Ты так же мне дорог...
За третьей заставой
быть мёртвой удобней.

Сожги моё тело,
сотри мою память,
где зыбкие тени
по крыше ступают.

А голос прольётся,
как кофе на скатерть...
На улице осень.
Всё будет, как скажешь.

* * *

Мы – мастера искусства ранишь в спину.
Я за тобой пойду на край земли.
И сотни лет мы беспробудно спим, но
из снов изжить друг друга не смогли.

Нам снится город – странный и пустынный.
Одежда наша и слова в пыли.
Здесь ты ещё такого не простил мне,
что, как обрывки струн, во мне болит.

Но будет день, и будут перемены.
Посмотрит время глазом фонаря.
И я проснусь, от ужаса немея,

и память поменяю, как наряд,
чтоб мы найти друг друга не сумели
над краем, над обрывом января.

* * *

К двадцати нас учат говорить.
К тридцати мы учимся молчать.
Пульс под кожей – это только ритм,
а напиток в чашке – просто чай.

Сочиняю: в школе карантин.
Всех опять разгонят по домам.
А бездомным некуда идти,
только в вечер, в слякоть, в парки, в март.

У меня в портфеле есть пенал,
полный разноцветных слов и фраз.
Я бежала.
Ты меня догнал
и теперь целуешь в первый раз.

* * *

Променявшие сталь на розу,
разделившие десять на три,
Мы любовь приравняли к розгам
и судьбы удержали натиск.

Наша вера – осколок лунный.
Мы выросли среди раздоров
и не знали, кого целуем,
но, конечно, не тех, кто дорог.

Наши муки темны и вечны,
а спасение – миг горячий.
Нас не вылечат, хоть и лечат.
Нас найдут, но уже не спрячут.

* * *

Я училась всегда плохому,
но боялась дышать на стёкла.
И зима оказалась тёплой,
а в глазах – беспросветный холод.

Я росла, как герань в горшочке,
зацветая послушно к маю.
А теперь я замки ломаю
и на окнах грызу решётки.

Мой дворец растащили воры
по кирпичику – вот досада!
Но в горшочках опять рассада,
и Луна на прохожих воеет.

* * *

Это лето дождём выбелено.
Это лето до дна выболено.
Мы с тобой навсегда выбывшие.
Что дороги у нас? –
Выбоины!

Мы из тех, что всю жизнь каялись бы.
Мы посмертно во сны канувшие.
По себе лишь столбы каменные.
А потомки-то чьи? –
Каиновы!

* * *

И. Обуховской

Мы выжили в одиночку –
жестоко и бесполезно.
Ты выпрыгнул с парашютом,
а я полетела так.
Не стоит искать по ванным
следы от вчерашних лезвий.
Ведь можно заткнуться сразу
и молча считать до ста.

И львам, что стоят у входа,
рассказывать можно сказки:
ты верил рекламе пива,
я верила чьим-то снам.
Но львы только хмурят морды
и смотрят на нас с опаской.
Они здесь видали многих
и вряд ли поверят нам.

* * *

Спокойней жить, не думая о смысле,
о рваных дней пунктире у виска.
Пока не грянул этот гулкий выстрел,
вот бог, порог, а вот – моя рука.

Спокойней жить...
В январские заносы
Вплетать мольбу о северной звезде.
Всю ночь кричать, к утру обезголосеть
и быть, как свет, со всеми и везде.

* * *

Кто с нами не смеётся,
тот вряд ли нам товарищ.
ведь знаешь, здесь напитки
покрепче, чем вода...
Нас дёшево продали,
хоть мы не продавались.
И в руки нам упала
зелёная звезда.

Здесь правда и неправда
замешаны под кожей,
и чувства проступают,
как краски на холсте.
Но лучше я останусь
невстреченной прохожей,
и будем жить, как раньше –
не с теми и не те.

* * *

И в мёртвой пустоте
покинутого дома
встречает нас подъезд
промозглой тишиной.
Нам город этот был
Гоморрой и Содомом.
Здесь каждый, кто любил,
был трижды предан мной.
Здесь листья неспроста
на клёнах пожелтели.

Им наши имена
отчётливо слышны.
Здесь были мы никем,
а стать хотели теми,
кто жизни раздаёт
в пакетиках цветных.

* * *

Эта осень пропахла чужими духами.
Неуместнее трудно придумать историю.
Я сегодня одна: от себя отдыхаю
и пою фонари травяными настоями.

Опадает листва, затихают шаги
и в подъезде пустом отголоски раскатятся.
Если можешь кому-то помочь – помоги.
А потом будет время понять и раскаться.

* * *

И кто бы подумал, что нам будет света мало,
что станем бежать, от людей закрывая лица,
что наши проклятья вредны для зубной эмали,
а наша гордыня застынет у входа львицей,
и будет греметь неумное злое эхо,
и будут смолкать отголоски чужого плача,
а души покроются чёрным лохматым мехом,
и это уродство уже никуда не спрячешь.

* * *

Быть одной против злого мира –
так ведь тоже и не впервой.
Я лежу в пустоте квартиры
да с проломленной головой.
Эта осень – чудака-старьёвщик:
столько тащит в мешках тряпья...
Я взрослею.
Я ставлю прочерк
в пунктах «родина» и «семья».

ОЛЬГА ТІЛЬНА

* * *

А над містом сходить сонце,
як і триста літ тому.
У пташинім суголоссі,
мов у безвісті, тону.

І звияг колишніх слава,
і теперішніх – ганьба
на бруківці чи бігбордах
довго житиме хіба?

А над містом сходить сонце,
як учора, як щодень.
І у венах його вулиць
кров нуртує і гуде...

Та байдуже переходим
до чужих і до своїх,
бо над містом сходить сонце,
і співають солов'ї!

* * *

Важко жити в сподіванні хоч якого-небудь дива.
У моєму, певно, віці не буває вже чудес.
Тільки раптом стисне серце так бентежно і дитинно,
Що знялася б і летіла
 понад морем
 до небес.

Та боюся, що руками чайок в небі позбиваю,
зачеплюся десь за щоглу чи повисну на дротах.
Тож бреду собі узвозом, слухаю дзвінки трамвайні,
кроки подумки рахую –
 і радію, що не птах.

А коли, буває, в слові чую ноту жалісливу,
що, мовляв, така нещасна, і надії вже нема...,
усміхаюсь по-британськи, так беззахисно-красиво,
і кажу, що полюбляю лиш підсолений мигдаль.

* * *

Уже сказали нам згори,
чий козир і як карта ляже,
і синьо-жовті прапори
злились з довколишнім пейзажем.

Наш гумор – чорний, як PR
на передвиборчих бігбордах.
Щодня зневіра підпира –
ще трохи – і вже піде горлом.

Невігластво народних мас
в серцях дитячих пофігізмом
відлунує усякий раз,
як треба будувати дійсність.

А віртуальні балачки
уже затьмарюють реальність...
І ми, байдужі і гнучкі,
з собою сам на сам zostались.

* * *

От і до літа, наче, дожили,
а про надбання й згадувати годі.
Коловорот розчарувань в природі
прискорює нудну ходу хвилини.

Від людства не схватись між людей.
Їх штучне горе й щастя недолуге
впадає в очі, проліта повз вуха
і множить у серці день у день.

А на судинах вапняний наліт
високих прагнень, нищості стосунків...
У наполегливимишуканні суті
втрачається рокам і зморшкам лік.

* * *

В. Б.

Стрімким потоком тікають тижні,
як навісні,
і ми з тобою, чомусь, дотичні
лиш уві сні.
Повіддавали човни і весла
не за метал –
тепер над нами панує безлад
і самота.

Лишилися тільки одвічна втома
і давній щем.
А сни тривожить далекий спомин
про щось іще...

Коли здалося, не зможу більше
нести свій хрест,
ти серед ночі
палючим віршем
в мені воскрес!

* * *

*Ти весь на бережечку самоти,
присмоктаний до туги, наче равлик...*
В. Стус

Дірки у тиші сміхом затули.
Не уривай розмови вечорами.
Ти й так на бережечку самоти
вчепилася у тугу, наче равлик.

Що ж з того, що усі твої світи
пооблітали цвітом яблуневим?
Не можеш гріти –
то бодай світи
не сонцем, хай хоч місяцем у небі.

Щось несміливо вітер шамотить...
Він знає все,
самітник і гувльвіса.
А ти на бережечку самоти
навічно залишитися боїшся.

* * *

Були тільки я і ти,
що так і не стали нами.
І спокою не знайти,
допоки сніги не стануть.

...Був усміх і голос твій,
буденні прості зізнання...
І непомітно звівсь
в повітрі новенький замок...

А потім –
ні сон, ні яв –
нетанучий сніг брунатний...
Бо є тільки ти і я,
що так і не стали нами.

* * *

Серпень випито до решти,
тихих ранків серце просить...
Вимагає самозречень
перехід із літа в осінь.

Завтра будуть недоречні
голі плечі й ноги босі...
Вимагає самозречень
перехід із літа в осінь.

Знов повернеться статечність
в голоси, грайливі досі...
Вимагає самозречень
перехід із літа в осінь.

І душа запрагне втечі
в спеку, вже забуту зовсім...
Вимагає самозречень
перехід із літа в осінь.

* * *

Осінній сквер – відверто безборонний.
Північний вітер давсь йому знаки...
Над головою каркають ворони –
старі віщунки чи лише птахи...

Чого вони кричать, зібравшись в зграю?
Про що попереджають?

Що речуть?

Що я прошу, чого й сама не знаю...
Що не під силу спису і мечу
відбити навіть танкову атаку,
а ядерні ракети – й поготів...
Що Одиссей, допливши до Ітаки,
і той на мить забув, чого хотів...

Осінній сквер – відверто безборонний.
Північний вітер давсь йому знаки...
Туманна сутінь сповиває крони...
Ворони що? –

Вони лише птахи.

* * *

Тобі насниться затишне тепло
моїх долонь, таких навіки рідних,
що всі страхи та сумніви побліднуть
й на ранок зникнуть, як і не було.

Мені насниться дотик твоїх вії
і усмішка щасливого хлопчиська...
То, мабуть, місяць ворожити вчиться
на зіллі з перезрілих наших мрій.

* * *

Я собі не дозволю сліз,
коли ти б їх і не побачив.
Привид болю – на повен зріст...
Ти – моя чергова невдача?

коли пручатись вже немає сили,
ти сам собі зумій сказати: «Ні!»

Зумій вп'ястися поглядом у небо,
зумій відчути запах полину...
Зумій зростити вояка із себе –
і дати бій собі не полінуйсь.

Хай буде той двобій тяжкий, кривавий!
Хай зранена душа болить, ячить!..
Лиш знищивши в собі усі омани,
ти знов побачиш шлях у далечінь.

* * *

*«Ой матінко-зірко,
Як у строку гірко...»
Народна пісня*

Чого мені гірко? Чого мені сумно?
Бо милий не хоче любити розумну.

Мій милий шукає дурнішу за мене.
Що маю робити, скажи мені, нене!

Чого мені сумно? Чого мені дивно?
Бо милий поїхав – і сліду не видно.

Мій милий уже десь танцює з другою...
А я, бідна, плачу, журюсь самотою.

Ой матінко рідна, ой таточку любий!
І що ж це про мене казатимуть люди?

Що милий подався дурнішу шукати,
покинув мене без вини винувату.

ТАТЬЯНА ОЧЕРЕТЯНОВА

* * *

Разговорчики в строю, тополя!
Не одни грунтовки нынче пылят.
Не одни дороги русским болят.
Да один избередил душу взгляд.

Ой, не застите, родные, его.
Маршируйте со своей строевой.
Листопаду стричь под ноль не впервой.
Что же станется с моей головой?!

Не сдержать мне прыти. Мчусь – пыль столбом.
Занесёт на повороте лобом.
Впору биться на грунтовке бы лбом
мне, куда небеса в голубом.

И пока грязь не развёз серый дождь,
и в строю лишь тополиный галдёж,
укололся о стерню старый ёж.
Но уже навстречу мне ты идёшь.

* * *

Как хочется сыграть на пианино
Покуда ты не против, и ни за.
Пусть нотный стан взметнётся паутиной
слезинки, будто ноты нанизав!..

Пусть задрожат шестнадцатые доли,
а целые останутся в конце
звучать надрывно в линиях продольных
на позабытом музыкой лице.

Так хочется коснуться гладких клавиш,
закутываясь в собственную тень,
и созерцать, как месяц обезглавит
ещё один не прозвучавший день!..

* * *

Деревянный костыль
в электричке на входе.
Видно, кто-то спешил
и забыл про недуг.
Стук колёс, сердца стук
в ритме заданном вроде:
- Доведут?
- Доведут.
- Доведут?
- Доведут.

За окном под мостом
камышы вместо речки,
по бесхозным полям
сединой ковыли.
Ждёт на входе костыль
со спиной чьей-то встречи:
- Довели?
- Довели.
- Довели?
- Довели.

* * *

Не прыгнуть выше головы.
И всё-то в жизни не навеки.
Сложил каштан покорно ветки –
на нём поставлен крест, увы...

Лишь место занял во дворе!
Кому нужны плоды каштана?!
Поди, голодным и беспштаным
простил Всевышний тяжкий грех.

Ну, мало ли – попутал Бес!
Да сам каштан был рад прощать их,
когда про Киев и Крещатик,
шумел, шумел с листвою и без.

Такой отъявленный злодей,
такой донельзя подколодный,
что всё беспштаных, и голодных
боялся,

падая,

задеть.

* * *

Срубить и головы, и дачи.
В пылу не то ещё сведя.
И вдруг собакою бродячей,
поджавши хвост, уйти в себя.

Авось там чёрствую краюшку,
еще не поздно отыскать,
чтоб в пересоленную юшку,
из слёз нахлынувших, макать.

Гнать прочь откормленного зверя
и руки нищему лизать.
И, чтобы нищий смог поверить,
смотреть в глаза, смотреть в глаза.

* * *

Ввысь голову всё некогда поднять.
Дела, дела...

Когда их переделаю?

Вновь денег не хватает, лета, дня.
И яблоко само упало, спелое.

Лежит себе, румяное, меж трав.
Мне не впервой по жизни низко кланяться.
О, Боже милосердный, сам управь –
когда взгляну на неба синий глянец я.

Надкусываю яблоко слегка.
С усладою в руках стою у дерева.
А синеву
последних три листка
не для меня ли силятся удерживать?..

* * *

Деревянное крылечко.
Пять ступенек или шесть.
Бабка, в горб ссутулив плечи
и вздохнув, решила слезть.
Ухватилась за перила –
нечем лоб перекрестить.
Молодой была – парила,
а теперь ползком сползти б
на весеннюю дорожку,
что в цветущий сад ведёт.
Но ступенечки, порожки –
ни назад и ни вперёд.
Высока родима хата,
и просторна, и пуста,
все разъехались куда-то
и велели жить до ста.
Да, видать, хватили лишку.
Ей добраться б до земли.
Да чтоб пролески под вишней
дождались, не отцвели...

* * *

Хлеб на Бурсацком раздают,
мол, в Украине люд голодный.
А в День Победы бьют салют –
развеселись, народ свободный.

Да что мы знаем о войне!
Воюет кто в Донбассе ныне?
Стою с копейкой в стороне.
Стою за пазухой с гордыней.

Здесь чёрный хлеб средь бела дня.
А в храме – пресная просфора.
Но не учила жизнь меня
молиться возле светофора.

На красный свет промчался джип.
Не пострадал никто, и ладно.
А бомж подранка учит жить.
И тот ворует хлеб бесплатный.

«М» «Исторический музей!»
Премьера под открытым небом.
Остановись и поглазей
на эпизоды с чёрным хлебом.

* * *

Слепую проводила до угла.
Он был мне благодарен и за это.
Вечерняя навязывалась мгла.
Не довести до дома не смогла
пожизненно идущего без света.

И рядом шла неведомо куда.
Он знал про все грядущие преграды.
Ночь для него такая ерунда.
А я одна во мраке без труда
едва ли одолею путь обратный.

И, может, позавидую ему,
споткнувшись у порога ненароком
о непроглядно вязущую тьму,
что накопилась в собственном доме
и хлынула навстречу мне из окон.

* * *

Растёт в Серебряном бору
клубника ложная.
Нетрудно соснам на ветру
взять в толк, что гложет нас.

Не верим, ой, не верим мы –
склонились, пробуем.
Откуда соснам знать прямым,
что с ягод проку нет!..

Клубника ложная красна –
полянки латками.
Зачем нам ягодка одна
попалась сладкая?

ВЛАД ПЕТРЕНКО

М.Є.

Жити в маленькому місті, а може, у великому.
Готувати на кухні каву.
Дивитись, як заходить сонце,
як незграбно ворущаються вулиці,
повертаючись масними боками.
Писати записки художниці с золотим волоссям
і не чекати відповіді.
Слухати музику.
Розмовляти з рибами,
що пропливають над містом
і блищать на сонці, відповідаючи мені.
Рахувати кроки та метри.
Зустрічати гостей-рибалок,
вдихати ранок, день
і видихати вечір.
Тембр мого голосу резонує з тремтінням скла.

Я виходжу у вікно,
і зірки хрустять як цукор під ногами,
в моїй душі темно,
і хтось умикає лампочки тут і там.

Глиняні чоловічки,
мокрий асфальт,
десь острів під назвою Коло, Ми, Я,
мокрі тіні, мокрі сліди,
галицького джаз мотиву,
глиняні чоловічки – хобі великих Богів,
хто вишиває для них одежі?
хто обладунки робить для них?
всі вони з глини, Української землі,
там, де сходить зоря, і там, де вона сідає,
кордони радості, болю та віковичних ран,
галицький джаз, слобожанський рок,
сплітаючи дороги у вузли,

сплітаючи слова і вінки,
кораблик пливе з-за Дінця,
до самого Черемоша,
глиняні чоловічки,
широка душа,
білі голуби, чорне вороння.

Росте цибуля на вікні,
яку нам їсти,
росте часник-намисто,
росте твій син,
ростуть новобудови,
і виростає сонце за вікном,
і діти варять борщ надворі,
ростуть і гори горя,
громи, герої і солдати,
ростуть бої великі та малі,
росте між двох світів любов у наших душах.
Летять комети і птахи,
летять і поцілунки,
і листи.
І десь о котрійсь там годині,
востаннє проспівали кораблі,
а нам лиш вільний ріст,
у нескінченному потоці світла.

Село в передчутті зими,
гойдає вітер віття,
старезний ліс скрипить до мене голосами,
а дим хмарами стає і відпливає далечінь,
шукає теплоти в замерзлих намертво містах,
а в цих полях хрипить лиш голос мій,
і запахи померлої природи,
і не востаннє і не вперше,
крізь мене проростають очерети,
торкаючись засохлими вустами неба.

Авторы журнала

Биографические справки

ЕФРЕМОВА Мария Павловна родилась в Белгородской области (Россия). Окончила Харьковское педагогическое училище и Харьковский государственный университет имени Горького. Работает в Харьковском Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт». Прошла путь от редактора до начальника редакционно-издательского отдела. Пишет лирические стихи. Публикуется в сборниках вуза. Живёт в г. Харькове

КАТАЕВА Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу закончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Огонёк», «Смена», «Радуга», «Москва», «Донбасс», «Слобожанщина», «Славянин», в «Литературной газете» (Москва) и «Новой литературной газете» (Киев). На украинском языке – в «Літературній Україні» и в журнале «Прапор-Березіль». Подборка стихов на украинском языке вошла в книгу «А українською – так» (Антологія російської поезії України. Київ, 2011). За работу с творческой молодежью и книгу стихов «Харьков – судьба моя» в 2005 году удостоена звания «Харьковчанин года». Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого. Живёт в г. Харькове.

МЕЛЬНИЦКАЯ Инна Владимировна (Гаврильченко, урождённая Оскнер) родилась в Харькове. Окончила Харьковский институт иностранных языков (1949) и аспирантуру при нём (1952). Награждена итальянской юбилейной медалью Ass.Naz.Alpini (1943-1993). Лауреат международной премии им. Долгорукова, премии им. Б.Слуцкого, юбилейной премии журнала «Радуга». Член НСП Украины, СП России. Живёт в г. Харькове.

ОЧЕРЕТЯНОВА Татьяна Ивановна родилась в городе Серафимович Волгоградской области (Россия). В станице Вёшенской закончила педагогическое училище. С 1982 года в г. Свердловске (Луганская обл.) работала по специальности – учителем младших классов, воспитателем в детском саду. Стихи пишет с 1979 года. Член творческого объединения литераторов «Слобожанщина» (2009). Автор сборников поэзии «Млечный ковыльный путь» (2003), «Пчёлочка золотая» (2011), «Мой Харьков начинался с «Барабашки» (2012) и повести «В тени терриконов» (2011). Лауреат областного литературного конкурса им. А. С. Масельского (2011). Первый лауреат премии им. Валерия Замесова (2012). Живет в г. Дергачи (Харьковская обл.).

ПЕРЕВОЗНИК Анастасия Юрьевна родилась в 1992 г. в Харькове. Закончила филологический факультет ХНУ им. В. Н. Каразина. Победитель VII областного конкурса им. А.С. Масельского в номинации «Поэзия» 2013 г., лауреат Международной Славянской поэтической премии 2014 года. Живет в г. Харькове.

ПЕТРЕНКО Владислав родился в Харькове. Выпускник литературной студии «Завязь». Лауреат фестивалей «Молода Слобожанщина», «Каштановый дом», «Фокус-2010», литературной премии Books-2010, XIV фестиваля им. Иосифа Курлата, Харьковского фонда обдарованной молодежи, конкурса юных литераторов «Слово. Образ. Митець» (2010), премии им. А.С. Масельского (2012). Живет в г. Харькове.

РАКОТИН Дмитрий родился в г. Харькове в 1962 г. Автор нескольких поэтических сборников. Живёт в Харькове.

РОМАНОВСКИЙ Александр Георгиевич родился в 1953 г. в с. Занадворовка в Приморском крае на Дальнем Востоке в семье офицера. Почетный член Харьковской областной организации Национального союза писателей Украины (2002), член Союза писателей России (2003). Председатель Харьковского отделения СП России (с 2006). Секретарь Союза писателей России (с 2009). Награжден орденом «Почётный Крест Украинской Православной Церкви» (2003). Лауреат международной премии «Имперская культура» (2009), литературной премии «Слобожанщина» (2006), литературной премии им. Н.Гумилёва. Автор 11 поэтических сборников, изданных в Украине, России и Польше. Живёт в г. Харькове.

СЛАВЯНИН Виктор Петрович родился 19 февраля 1943 г. в хуторе Пинчуки Васильковского р-на Киевской обл. Окончил Киевский политехнический институт. Работал в институтах Академии наук УССР. С 1976 г. в Москве. Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Первая публикация: в газете «Літературна Україна» в 1967 г. – перевод стихов Т. Шевченко на русский язык. Работал литературным редактором в редакциях литературных журналов и издательств Москвы («Молодая гвардия», «Столица», «Современник»). Публикации в журналах СССР, России, Украины, Молдавии, США, Австралии. Автор шести книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в г. Москве.

ТИМЧЕНКО Антонина Александровна родилась в г. Харькове. Окончила Харьковский национальный университет им. В. Каразина, кандидат филологических наук. Автор пяти поэтических сборников и нескольких книг для детей. Лауреат Международного конкурса лучших произведений молодых украинских литераторов «Гранослов», «Молодая Слобожанщина» и Международной украинско-немецкой премии им. О. Гончара. Член НСПУ (2005) Живет в г. Харькове.

ТИЛЬНА Ольга Анатольевна родилась в 1978 г. в г. Харькове. Окончила Харьковский НПУ им. Г. Сковороди и университет г. Лидс (Британия). Автор пяти книг. Лауреат премии «Новые имена Украины», «Гранослов». Член НСПУ (2003).

Живет в г. Харькове.

ТИХОНОВА Ольга Васильевна родилась в 1985 г. в г. Сумы. Окончила факультет иностранных языков ХНУ им. В.Н. Каразина. Автор четырех поэтических сборников и сборника прозы. Лауреат Харьковского областного смотра-конкурса «Маленький Парнас» (2003). Член НСПУ (2005).

Живет в г. Харькове.

ШАХРАЙЧУК Татьяна Евгеньевна родилась в г. Черкасы. Окончила Ровенский государственный гуманитарный университет, факультет филологии (1975) и Киевский лингвистический университет, факультет иностранных языков (1995). Преподаватель высшей категории, имеет звание старшего учителя. Играла на сцене Народного Молодежного театра более 30-ти лет. Режисер и сценарист внеклассных мероприятий. Ранее не публиковалась.

Живет в г. Ровно.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Римма КАТАЕВА. «Влюбляюсь заново я в небо Харькова...»	3
Дмитрий РАКОТИН. Харьковград	9
Антонина ТИМЧЕНКО. «А про тебе написать не могу...»	13
Александр РОМАНОВСКИЙ. Из песенного альбома.	84
Татьяна ШАХРАЙЧУК. «Как хорошо, когда Душа поёт...»	91
Мария ЕФРЕМОВА. «Снова шумный, сероскулый Харьков ...»	95
Анастасия ПЕРЕВОЗНИК.	199
Ольга ТИХОНОВА.	201
Ольга ТИЛЬНА.	209
Татьяна ОЧЕРЕТЯНОВА.	216
Влад ПЕТРЕНКО	222

ПРОЗА

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ. Мои земляки	21
Виктор СЛАВЯНИН. Дети безземелья.	99

АВТОРЫ ЖУРНАЛА

Биографические справки	223
------------------------------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№22-23

Гл. редактор Л.И. Мачулин
Редактор отдела поэзии Р.А. Катаева

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 30.11.2014. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCondСТТ. Усл. печ. л. 14,30. Уч.-изд. л.
14,70. Изд. №2. Зак. №__. Тир. 500 экз.

Учредитель: 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
е-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331